

# ЗАПИСКИ<sup>1</sup>

«Милостивый государь и добрый друг мой И. М. Вы не один раз просили меня рассказать вам повесть моей жизни. Я немало противилась исполнению желания вашего, боясь отдать на суд публики правды моей жизни, не потому что эти правды горьки и нехороши, нет, – правда везде и всегда хороша, как бы и где бы ни проявлялась она, – но мы всё-таки боимся правды. Уступая вашему желанию, делать нечего, надо сказать её. Я отдаю всю жизнь на суд лиц достойных и лиц не стоящих быть судьями; но, пусть их судят! Вот вам моя биография и повесть моей жизни... назовите её как хотите!

Начинаю мой рассказ с самого детства, с той минуты, как память моя запечатлела в себе первые образы, а потом все впечатления и случайно-

---

1 «Русская старина». 1878, т. XXI, стр. 65-80, 281-304, 609-624. Из редакционного вступления указанного издания: «При жизни покойной почти никто из её знакомых и не подозревал о существовании <«Записок»>. Они сообщены были редакции «Русской Старины» в мае 1872 года, зятем покойной, А.Н. Матвеевым (мужем её дочери), который объяснил, что А.П. Косицкая вела их в последние годы жизни, что дочь и зять привели их в порядок после её кончины. «Записки» эти посвящены воспоминаниям о детстве и первой молодости артистки и главнейшее их достоинство – простодушие и искренность при совершенном отсутствии каких либо притязаний на авторство. С первых же строк читатель увидит, что «Записки» писаны женщиною простою, учившеюся на медные гроши, совершенно не знакомою с требованиями печатного слова. Впрочем, покойная, без сомнения, и не готовила к печати ни своих «Записок», ни приложенных к ним стихотворений. Между «стихотворениями» есть романсы из пьес или из печатных сборников. Те же из них, которые, по видимому, принадлежат собственному перу покойной артистки, до того слабы, что мы не могли решиться их напечатать. Во всяком случае, по заключающимся в них бытовым картинам, по эпизодам провинциальной закулисной жизни, по подробностям биографическим «Записки» А.П. Никулиной-Косицкой настолько любопытны, что мы даём им место на страницах «Русской Старины» – во исполнение весьма давнего нашего обещания читателям». (Ред.).

сти, которые могла сохранить в себе. Я помню хорошо моё детство; но странно: я сохранила в памяти более горькие минуты или, в самом деле, их было более чем хороших?»

*А. Косицкая*

## I.

Семья крепостных. – Типы помещиков и помещиц старого времени. – Первые впечатления. – Семейные дрязги. – Горемычное детство. – П.А. Долгонова.

Мы были дворовые крепостные люди одного господина, которого народ звал собакою. Мы, бывши детьми, боялись даже его имени, а он сам был воплощённый страх. Я родилась в доме этого барина, на земле, облитой кровью и слезами бедных крестьян. Помню страшные казни, помню стоны наказуемых – они до сих пор ещё звучат в моих ушах! Боже мой! Какой страх был им наведён на всех его подданных. Когда он, бывало, выходил из дому гулять по имению, дети прятались от страха под ворота, под лавки, а кто не успевал сделать этого, тот – непременно бывал бит. Он говорил, что он не сыт, когда не измучит кого-нибудь, и ему обед не в обед! Жена его и дети не смели быть добрыми, если б и хотели! Они были изнурены муками других. У помещика этого были ещё три брата и один одного был лучше: первого из них крестьяне распяли, другого убили; этот был ещё всех добрее и умер своею смертью в Нижнем Новгороде. И до сих пор трудно мне объяснить себе любовь этого господина и его семейства ко мне; они все любили и ласкали меня, потому ли, что я была занимательный ребенок, или потому, что мать моя была первый человек в доме и отец мой тоже, – не знаю право, мне только известно, что кара Божья постигла и наше семейство. У нашего господина бежали б человек отборных дворовых. У него каждый год бегали двое-трое, один раз убежали 12 человек – но побег этих шестерых очень рассердил нашего господина, и отец мой, как старший во дворе, был обвинен в потворстве этому побегу. Его осудили, не слушая оправданий, и в кандалах отправили в Нижний.

Я родилась близ Нижнего, в селе Ждановке, на берегу Волги.

Итак, осуждённый мой отец отправился в оковах прямо в острог, а у матери все отняли, кроме шестерых детей; её замертво оттащили от отца. Мы недолго оставались в этом селе, и нас, полунагих, в одних рубашонках и худых шубах, под стражей отправили в город. Вот первая минута горя, которую ощутила душа моя и которая крепко врезалась в мою память. Рыдания матери сильно подействовали на мою юную душу, мне было тогда 6 лет. Это было в 1835 году. Мы приехали в Нижний. Дорогою добрые люди кормили нас, подавали нам рогожки, чтобы мы не замерзли! Нужда и печаль сокрушили мою мать; она захворала; отец сидел в остроге; нам было запрещено видеться с ним. Наконец он был оправдан и выпущен на свободу. Когда он пришел к нам, мы не узнали его, – он был худ, бледен, с впалыми глазами, обросший бородой; после минутного страха мы бросились обнимать его и плакали все; он взял меня на руки и сказал: «Слава Богу! Я опять вас вижу!» И сам заплакал. Его хотели вместе с нами возвратить в село Ждановку, но он настоятельно воспротивился этому и сказал: «Пусть меня сошлют в Сибирь или отдадут в солдаты, но я не пойду назад!». Долго его опять пытали. Наконец, решились продать нас знакомому господину, который занимал тогда важное место в Нижнем. Мы перешли тогда в другие руки и, можно сказать, попали из ада в рай. Прежнего нашего барина постиг гнев Божий; на него все восстали, и люди и судьба. Семейство его почти стерлось с лица земли, они все кончили жизнь свою в бедности и нуждах.

Новый барин, Г. П., был человек добрый, прекрасный, любимый и уважаемый всеми. Нам отвели комнату вроде сарая, большую; в ней стоял каток для белья, и много кур сидело на жёрдочках. У матушки родился ещё сын.

Новая госпожа моя была, нельзя сказать, чтобы очень добрая женщина. Она была высокого роста, с широкими плечами, с гордой осанкой и ястребиным лицом. На голове носила две букли; волосы у неё были черные с проседью, а коса, высоко зачесанная, клалась на бок и очень большая гребёнка тоже её удерживала. Когда она, бывало, оденется и выйдет в девичью, то земля дрожит и всё падает ниц. Через девичью она проходила в спальню своей старшей дочери, которая была истинно красавица и верный портрет своей матушки. Она сама занималась хозяйством, ходила с кнутом по двору, была слуг за вино и без вины, от скуки что ли, не знаю – драалась кастрюлями и всем, что ни попадало ей под руку. У неё был заведён порядок такого рода: женщина, имеющая грудных детей, отпускала из горницы два раза в день на полчаса, во время обеда и ужина; в это время она должна сама поесть и дитя покормить; на ночь все отпускали по домам. Дети были не живучи в этом доме: кто сторит, кто обварится, кто уберётся до смерти. В это время я была нянькой у маленького брата, да у меня был помощник четырех лет, тоже брат, и я, было, утопила моего брата: не знаю, что привлекло наше внимание на дворе, мы оба с помощником вышли вон; маленький брат был посажен на постель матушки, я выдавила ему местечко в перине; пока мы ходили гулять, перина выдавилась, и дитя полетело в таз с водою. Его насилу откачали.

Матушка была ключницей, ей нельзя было отлучаться; отец, будучи дворецким, тоже был занят, и когда мы с воплем просили помощи, матушка заплакала и сказала: «Умрите вы все», – и ушла. Птичница нам оказала помощь, но госпожа наша не дремала.

Как-то отец мой пошел к барыне с докладом. Она была в кладовой, что-то ей не понравилось, она хотела ударить отца кастрюлей, да промахнулась: кастрюля упала ей на ногу, ей сделалось дурно, а отец ушел. За это она вскоре нашла средство отомстить ему: все девочки во дворе должны были, поочередно, с шести часов утра приходить в спальню к её дочери и дожидаться её пробуждения; она же вставала в 11 часов. Пришла моя очередь. В 6 часов я явилась, вхожу в спальню и вижу на столах и этажерках разложены конфеты, чудные и во множестве. Я, на седьмом году, разумеется, не отличалась ни благочестием, ни умом: взяла две конфеты, одну себе, а другую братьям, смотрю на их картиночки и занялась ими так, что не видела, как отворилась дверь и предо мною явилась госпожа моя. Она на меня взглянула, улика была на лицо; я заплакала, упала на колени, созналась во всем, отдавая ей назад конфеты. Она усмехнулась, схватила меня обеими руками за голову и вышвырнула в дверь; я ударилась о стену головою. Она била меня до того, что я потеряла память и потому не знаю, сколько и как долго наслаждалась она моими мучениями. Меня отнесли домой полумёртвою и целую неделю у меня из ушей текла кровь. Больше я не бывала в горнице и оставалась, на прежнем основании, нянькой моего маленького брата; но с этой минуты госпожа возненавидела нас и чрез год мы были проданы в Балахну, одному добрейшему человеку, у которого на воспитании была моя старшая сестра. Он купил сестру ещё в колыбели; любил отца и мать мою, и вырвал нас из рук варварки.

Она любила свою дочь, и передала ей все злое что могла! Горничная барышни, когда шла чесать ей голову, всегда на коленях молилась Богу, чтобы Господь смягчил её сердце, и возвращалась всегда с руками, исщипанными в кровь и с распухшими щеками! Господи, как эта барыня была зла! Она не могла пройти мимо девочки, чтоб не выдернуть у ней клочок волос или до крови ущипнуть.

Итак, мы приехали в Балахну на лодке по Волге; я спала всю ночь так крепко, что и не слышала, как мы проехали весь путь; высадились на берегу, покрытом кустарником; он мне очень понравился, мне стало весело, и я запела: «Что на свете пружестеко»; эту песню тогда все пели.

Матушка ударила меня по затылку и сказала: «Дура! Лучше бы сотворила молитву!». Я перекрестилась, а отец сказал: «Вот тебе и песня,

ишь распелась певица!». Мы пошли прямо в богатый дом, стоявший на берегу залива, с террасами и балконами, такой весёленький. Волга из его окон была видна вся как на ладони, и кустарник покрывал весь песчаный берег.

Балахна не представляла ничего хорошего, стоя на плоском берегу Волги. Когда мы пришли, все ещё спали; переоделись, умылись и пошли прямо в девичью, подле которой была спальня моей сестры и другой воспитанницы.

Меня научили, чтобы я кланялась в ноги господину и госпоже, которым мы теперь принадлежали. Когда они встали, нас позвали в залу с колоннами и с паркетным полом. Вся семья господ и вся семья подданных, состоящая из семи человек, заплакали. Все, отец и мать и вся наша семья, бросились господам в ноги. Я ревела, а не плакала, ухватилась за ноги моего доброго господина и целовала их. Он взял меня на руки и сказал: «Не плачь, малютка, я не буду тебя бить, да и не смею, потому что тывольная! Вот тебе подруги моей дочери, играй с ними». Тут опять последовали слезы.

Отцу тут же дали должность дворецкого, а матушке – ключницы. Сестра мне в этот день подарила сундучок с лоскутками; я была очень счастлива, и в этот же день по секрету играла в саду в лошадки с одною из моих подруг, которая меня очень полюбила. Она была поболее меня, лет 10-ти; она отняла меня у матушки, я и спала с ней в одной комнате. Я помню, она рассказывала мне сказку, как рыцарь поехал на войну и все ехал, ехал до другого дня, так и едет, а потом опять сначала; а я ей сочинила такую же сказку про старика со старухою: эти все шли и сидели. Она сердилась на меня и страшила, что отошлет в Нижний, я и приумолкну.

Кормили меня с барского стола, и я, в короткое время, стала кругла как шар; бывало, упаду и перевернусь раза три и с трудом встану. Мы были в большом почёте и любви. Меня никто не бранил, кричу ли я, смеюсь ли, пою ли, мне всё с рук сходило! И правда, если Господь создал рай также прекрасным, как этот дом, куда нас бросила судьба, то ничего бы и желать не надо; дух ободрялся, сердечные раны зажили – нам было тепло и хорошо!

Мною забавлялись все. Я была трусиха, и, бывало, все пугают меня; к тому же, я была глупа, разумеется, и доверчива; ничего не было легче, как обмануть меня. Вдруг мне скажут, что на небе два месяца и начинается страшный суд; я – поверю! Меня пошлют к матушке просить прощения и, чтобы я призналась ей в своих грехах – я сдуру всё ей и расскажу, а месяц на небе окажется один, а другой-то в Волге, а Волга была шагах в пятидесяти от дому, где мы жили.

Один раз я поплатилась жестоко! Меня напугали покойником, нарядился кто-то в белое и прошёл по террасе; я, разумеется, должна была увидеть это. Я испугалась ужасно, и опять меня послали каяться. Я возьми да и расскажи матушке, как я один раз украла у неё начинку из пирога для своих пирогов из глины. Я очень любила глину и летом, бывало, пекла по сотне пирожков из неё и ела их с величайшим удовольствием. Тут меня порядком высекали – я поняла, в чём штука-то, да и не стала ничего более бояться. Я была очень забавная, говорили все, и по глупости моей была в особенном почёте у всех. Наши добрые господа любили меня и сестру как детей своих и баловали нас; ели мы с ними с одного стола, т. е. нам высылали.

Тут был ещё киргизёнок; меня нарекли его невестой, и он уже всегда тоже обедал со мною, и мне было очень весело. Поиграть мне было не всегда приятно: вообще я как-то не любила в играх быть рабою, а непременно хотела быть или барыней, или царицей, и когда выбирали барыню другую, а царицы по игре не приходилось, то я очень обиженная удалялась мечтать на берег Волги. Там меня находили не один раз уснувшей, с опухшими от слёз глазами.

Бывши ещё ребёнком, я любила мечтать, и сколько раз оставалась без обеда и без чаю замечтавшись на берегу Волги. Меня так и прозвали

бродаюю мечтательною. Бывало, на окне засну, любуюсь на луну, да и проспую всю ночь; проснусь, только шею больно.

Жизнь эта была для меня раем! Как мне было хорошо тогда, Господи! Но в действительности, эта жизнь пробудила во мне преждевременную развитость, мечтательность и восприимчивость. Тут я стала быстро осмысливаться. Игру в куклы я не любила, и свободный, не связанный ничем ребенок, я любила расхаживать по горам, да по долинам, любя до страсти слушать, как журчит Волга по камешкам. Но вместе со всем этим я стала себя любить, и никогда в обиду не давалась; если, бывало, меня кто обидит, то я переплачу тут, а потом не попадайся мне мой обидчик: я соберусь с духом и отомщу! Такие бывали трёпки, как теперь вспомнишь – совестно делается!

Так прошёл год, прошёл и другой, и была я всё невеста киргизёнка. Чего, чего не делали с нами; один раз заперли нас в шкаф, да и забыли; мы там уснули и чуть-чуть не задохнулись; послали нас отыскивать, а мы в шкафе! Когда нас открыли, мы были чуть живы, и смеялись над нами очень долго.

Мне пошёл девятый год; в это время мой отец стал проситься на волю. Ему предложили выкупиться. Он согласился заплатить за себя и за трёх братьев две тысячи рублей и был выпущен на горькую волю со всей семьей, а сестра осталась в доме Н. Ф. М.

Не на радость нам была эта воля: нужда, бедность и горе стали нашим уделом. Старший брат в кабалу должен был идти, отец тоже, мать, ещё один брат 10-ти лет, да я должны были жить на квартире. Отец употребляла все силы, чтобы как-нибудь кормить нас, а мать боролась с тяжелой нуждой, обшивала, обмывала нас всех, и на девятом году я стала со-трудницей её в трудах и заботах. Стала помогать ей во всём: стала шить, стирать белье в корыте на полу и ходить на Волгу полоскать его. У меня были куклы, я любила шить на них разные костюмы – и куклино белье, бывало, тоже выстираю и мне казалось, что этот тяжкий труд для меня был легче, от того, что я тут же припутывала свои забавы. Стоя по колену в воде, вынимала куклино белье из кармана и его мыла, и мне было и тут весело. Поймаю, бывало, щепочку, поцелую её и пошлю в Балахну и долго гляжу украдкой, куда она поплывёт. Мать моя хотя и была окружена нуждой и заботами, но не забывала просвещать нас, и удаляла, хотя час времени на наше ученье и учила нас русской грамоте; писать же окончательно выучилась я самоучкою, начиная списывать печатные буквы. Учили мы псалтырь и евангелие, вообще закон Божий, все святые книги.

Братья стали понемногу помогать нам. Я трудилась не по детски, и девяти лет я почти кормила себя. Отец мой изнемог в борьбе с нуждою и, как простой человек, стал пить постоянно, редкие дни были трезвые. Всё, что добывалось трудами нашими, всё это уходило, частью на пропитание, а то – тяжело сказать, куда.

Мне минуло десять лет. Сознывая нашу бедность и нужды, я всеми силами дитяти училась разным рукоделиям, и Бог помогал мне: не было дела, которого я не поняла бы. В десять лет, я была помощой<sup>1</sup> матери и брала чужие работы, получала за них деньги, иногда вдвое против того, что они стоили, за хорошее исполнение, и добрые люди помогали мне, видя труды мои, и ласкали меня.

Хозяйка дома, где жили мы, поручила мне учить дочь свою, которая была ещё менее меня, и она работала со мною, с десятилетней мастерицей. Дом, в котором мы жили, был по самой середине горы, на которой помещается весь Нижний, и при доме был сад во всю вышину той горы. Из этого сада были видны Ока и Волга верст на сорок кругом; и летом мне бывало так легко и привольно! Встану ранёшенько и уйду в сад, возьму, разумеется, работу. У нас сад был русский, вроде леса; насажали всякой всячины, росло это, как Бог велел – были яблони, малина разных сортов, крыжовник, смородина тоже разная, тут и ещё какие-то дере-

1 Помощницей (Ред.).

вья, и дуб в этом числе подле забора. Под ним была природная скамья и стол зелёный, двумя гвоздями приколоченный к столбу посредине, вот тут-то я и помещусь, бывало, работаю и песенки попеваю, а ручейки со всех сторон так и журчат-журчат по мелким камушкам. И пелось, и слушалось, и работалось в одно и то же время, а что я чувствовала в то время не помню, кажется, ничего не чувствовала, а просто было мне хорошо и привольно! Наказанье, бывало, идти домой обедать. Мать почти всегда бранится, она недолюбливала меня; а иногда станет ей меня жалко, ласкать начнет, скажет: «Труженица ты моя! Ребенок!» Я иногда, бывало, и домой не пойду обедать, а пообедаю у хозяйки, да и опять в сад, и опять петь – меня и прозвали «певучей пташкой», и ещё «лунаतिकом», за то, что я всё хожу по горам, да в воде полощусь.

Тут дом наш стал поправляться, отец перестал пить и целый год не пил. Мы зажили порядочно, трудясь вкупе, и наша квартира стала нам тесна. Отец нашёл другую, и мы переехали. Действительно, эта квартира была гораздо лучше; я её очень хорошо помню: кухня с большей печью и двумя окнами, потом чистая комната для спальни и ещё чулан для меня с братом.

Я от сильных трудов стала терять зрение и меня на отдых отправили в Арзамас, там жила моя сестра у своей крестной матери, в деревне. Я у неё пробыла почти год и там-то я вздохнула, как следует: ничего не делала, и баловали меня ужасно; я стала большая шалунья и хохотушка, кого угодно, бывало, рассмешу. В этот год со мною ничего не было. Не могу умолчать о людях, у которых я находилась.

Крестная мать моей сестры была олицетворённая добродетель и муж её – тоже добрый, простой помещик, ничего решительно не делавший, и только любивший за зайцами охотиться. У него была старуха мать, злая-презлая; с этою старухой я не ладила и обижала её очень часто за то, что она была жадна очень, а я не любила жадных. Бывало ночью у неё на грядках огурцы оберу или мак порву. Раз грех меня попутал: сестра моя, тогда уже невеста, пошла за огурцами, а меня послала за маком. Я приложила своё усердие и нарвала столько, что чуть унести могла. Меня увидев сторож; от него я побежала, да потеряй башмак, и не думала, что этот башмак будет мой обличитель. Поутру, только что встаю: «Пожалуйста, – говорят, – башмак мерить к старой барыне». Тут меня спасло от серьёзного наказания то, что я скоро уезжала: мне только ухо очень нарвали.

Я через два дня уехала в Нижний. Житьё наше нашло почти в роскоши: обед бывал хороший, и чай по два раза в день, и гостей у нас много бывало, и сами мы ходили в гости.

Тут случилось с нами величайшее несчастье; дело было осенью, но дни стояли ясные, теплые; были у нас гости, напились чаю, закусили, отправились домой, а мы с матушкой пошли провожать их; отец остался дома. Дошли до половины дороги, вдруг путь наш осветился: над нами стояло зарево. Мы простились с гостями, пошли домой, и только повернули в нашу улицу, видим, что дом, где мы жили, весь охвачен пламенем. Мать покатылась замертво. Её и меня уложили на наши узы, которых было очень мало, но мой маленький сундучок с лоскутками был цел, и я была покойна, даже мать уговаривала, чтобы она не плакала. Опять предстояли мне горе, труды и нужды. Правда, мы не просили милостыню, но и не отказывались брать у тех, которые подавали нам. Добрые люди приютили нас на время; потом мы переехали опять в старое своё жилище и, с Божиею помощью, скоро опять поправились, и я так была счастлива, опять увидев себя в этом гнездышке.

Пришла зима и тут началась моя жизнь с сознанием и надеждами. Мечты, мечты мои дорогие, как сладко и как грустно вспоминать об вас, как вы дороги моему сердцу! Я пишу о том, что было так давно, но так живо воскресает передо мною каждый день моей прожитой жизни, и теперь я также снова переживаю и смеюсь и плачу как тогда!

Мне минуло одиннадцать лет. Я работала все работы, ничто не вываливалось из моих рук, кроме шитья золотом и шляпок: этого не могла понять,

но по тюлю вышивала великолепно! Тогда была мода носить тюлевые платки, косынки и мантильи, вышитые синелью и разноцветными шелками; эта-то работа мне очень понравилась, и я имела большие и хорошие заказы, одеваа себя сама и маменьке помогала. К празднику Пасхи Христовой я получила заказ на 30 руб. – вышить три косынки синелью. Измучилась я тогда – не от трудов, нет – мечты меня одолели! С каким восторгом ждала я дня, когда кончу работу и отнесу её, получу деньги, и куда я их дену. Потом вдруг сердце точно оторвётся и всю в жар бросит. Ну, как не кончу, захвораю, или перережу ножницами косынку, или её прорвёт кто-нибудь? Даже руки, бывало, задрожат... Там опять мечты, какое сошью себе платье, и какой куплю платочек, а может быть, и на чухончку достанет? Как маменька будет рада – я отдам ей половину. Работа кончилась, косынки, все три, готовы. Ночь спать не могу, утра наслу дождалась – всю ночь мечтала.

Что же я думала? Вот завтра встану пораньше и отнесу работу, получу тридцать рублей, – приду назад, сейчас маменьке вручу половину, там в ряды пойдем, куплю себе белое кисейное платье с красненькими и синенькими мушками и розовый газовый платочек с беленькими пятнышками, – а на чухончку не достанет; ну, думаю, на Троицу себе и чухончку сделаю, и в Троицу так наряжусь, что меня и не узнают!

Встаю; не пивши чаю, несу работу и получаю вместо тридцати рублей – сорок, говорят, очень хорошо вышито, за то и прибавка! Я чуть с ума не сошла! Две радости вдруг, и чухончка с розовыми лентами, и работа понравилась.

Вся Пасха стояла грязная и мне ничего нельзя было надеть, чему даже я была рада. Я очень Троицу любила – и всё отложила до Троицы.

Пришла она, желанная! Платьице хорошенькое я сама сшила; платочек чудесный, и чухончка с розовыми лентами, всё на мне очутилось, и я не знаю, где я была: на небе или на земле? Но это ещё не всё, как счастье начнёт баловать человека, так и не исчислишь его щедрот.

Оделась я совсем, букет готов, хочу идти к обедне; вижу – идёт старший брат с большим узлом. «Это, – говорит, – тебе». Развязала узел и вижу розового терно<sup>1</sup> салоп с зелёным бархатным воротником. Этот день, конечно, никогда не изгладится из моей памяти и останется самым отрадным воспоминанием на всю жизнь. Я провела его с родными и, как кончили вечерний чай, ушла в сад. Солнце начинало садиться, подруги мои были со мною, но я не могла играть: сердце моё так было полно радостью и счастьем, что мне было жаль этого дня, и я следила за солнышком, как оно опускалось в Волгу. Хорош был этот день! Природа смолкла, стихла; только дыханье человека, да журчанье ручейка прерывали эту чудную тишину. Подруги мои ушли; я осталась в саду, и без них мне стало лучше – я вся углубилась в природу и ничего не видела и не слыхала, кроме солнца Божьего, да птички чирикали, прощаясь с ним, да журчали ручейки и падали в пруд в соседний сад. Как хороши эти дни и вечера в Нижнем! Солнце опускает свои золотые лучи в Волгуматушку, а она, родная моя, бежит; от захождения солнца вся делается золотая. Мне тогда думалось, что Волга с Окой сёстры, бежали, бежали обе да столкнулись в Нижнем, обнялись, да и пошли своим вечным путем вместе. Я не могла спать и эту ночь, не хотела и не пошла ужинать, а осталась в саду, сидела, ходила, опять сидела под дубом, проводила солнышко и стала дожидаться нового солнышка. Всю ночь песни бурлаков долетали до меня; я слышала, как удары вёсел разрезывали воду на Оке, и как в соседнем пруду всплескивалась рыбка. Я припала головой на дубовые корни и уснула. Солнышко разбудило меня; было не рано, я пошла домой; у нас уже и чай был готов.

Этою же весною был со мной ещё один случай, который был не так приятен для меня.

Всем известно, что в Нижний, по весне, приносят из Оранок, образ Владимирской Оранской Божией Матери. Её перевозили на лодках на

другую сторону, т. е. в ярмарку и Кунавино, на неделю или более. Мы всей семьей пошли провожать её до перевоза; народу была тьма, уставились все, кому-где пришлось; мы встали на плотках, далеко от берега. Был ветер, довольно сильный; мы целою семьею заняли угол; я стояла на самом краю. Когда образ был поставлен на лодку, то садились в лодки все, кто успевал, лодки отходили от берега и как дождик сыпали по Оке. Стали отдавать лодку от плота, а на косных лодках, вместо руля, имеется очень длинное и широкое весло рулевое. Это самое весло задело по мне, и сшибло меня в воду; я юркнула как камень, меня схватили за волосы и выхватили; ядохнуть не успела ни разу, как это всё случилось, но испугалась очень и озябла; полежала денек в постели, напилась тёпленького и на другой день встала ещё здоровее.

## II.

Первый выезд в театр. – Призвание. – Домашний совет. – Согласие матери. –  
Отъезд в Нижний.

Минуло мне двенадцать лет.

Зима для меня была невыносима, я не видела света Божьего. Летом я забывала свои труды: день большой, успеешь и набегаться, и наиграться, и наработаться, и летом мать менее бранила меня; она была такая ворчунья; огорчала меня тем, что я не могла ничем угодить ей; она сердилась даже на то, что я начала терять здоровье. Все говорила, что я лениюсь, что я нерадивая и очень редко ласка выпадала мне на долю. Один раз мать бранила меня, что я не хорошо выгладила какие-то брюки; я сказала, что не могу лучше; она хотела меня бить и упрекнула даже, что я дармоедка. Этот упрек так был горек для меня, что я не могла даже плакать, и недолго думая пошла да и нанялась в горничные, из-за хлеба и платья. Дама, к которой я поступила, была купчиха. Я могу сказать имя её, и фамилию: добрых людей скрывать нечего. Звали её Прасковья Аксёновна Долгонова. Она оказалась очень доброю и прекрасною женщиною; была первою красавицею в городе. Она взяла меня к себе и полюбила, и ласкала как дитя своё; я хотела оправдать вполне её любовь но мне и делала всё и в силу и не в силу. Она понимала это и привязалась ко мне. Я не вынесла таких трудов и захворала, простудилась; захворала я крепко, и была опять взята в отчий дом. Хворала я недолго, но во время моей болезни, я вся обратилась к Богу и просила его, чтобы он возвратил мне здоровье и чтобы я увидела опять доброе личико П. А. Я была очень религиозна и всё свободное время посвящала на чтение священных книг. Выздоровела я, и, разумеется, прежде всего, пошла к обедне, и потом опять отправилась к моей дорогой П. А. Она, увидав меня, обрадовалась, зацеловала меня и потащила к мужу, оставив меня у себя, но уже не для работы, а для своей забавы. «Хорошо мне, – думала я, – но чего же я хочу ещё-то?» И сколько раз безотчетная тоска овладевала мною, сколько раз я хотела бежать далеко, далеко, – а куда, сама не знаю. Грудь мне сожмёт, слёзы хлынут и я, изнеможённая, упаду на подушку и выплачу своё тайное горе. Иногда страшные видения тревожат меня, под ногами пропасть, а мне идти надо, я кричу и просыпаюсь, и страх нападёт на меня; или вдруг рай небесный откроется передо мною, и я наслаждаюсь райскою жизнью и целая ночь пройдёт и вставать не хочется.

Я так часто видела такие сны и дни эти так глубоко-грустны для меня. А иногда безотчётная бешеная радость овладевала мною, я пела, прыгала, плясала, как будто горе никогда не касалось до меня. Забывала все горести и до сей минуты целую руку моей доброй П. А.: она оживила мою душу, она отняла меня у матери, она утешалась мною как собственным ребенком. Мне было тепло у ней и отрадно. Муж ее, простой русский купец, был очень добрый человек и любил её. Я везде была с ними, они брали меня с собою кататься на гулянья.

Пошёл мне уже четырнадцатый год, я не знала, как летало время. Была зима и первая зима, в которую я не работала. Пришли святки, мы много веселились, гадали, и, в один прекрасный день, мне утром объявили, что вечером мы едем в театр. Не знаю почему, у меня сердце замерло, я побледнела; надо мною стали смеяться, что я боюсь, и уверяли меня, что там нет чертей, и что они меня не отдадут им, и чтобы я крест надела. Я сказала, что крест и образок на мне и прибавила потом, что я не боюсь, но что мне давно уже хочется в театр, что я никогда не видала его.

Было это 29-го декабря 1843 года.

Пришёл вечер, я была уже одета, подали лошадей; меня била лихорадка от ожидания. Подъехали к театру, вошли в ложу; народу так много и светло так; меня бросило в жар. Успокоилась я немного, мы сели. Заиграл оркестр, я испугалась и ахнула. Оркестр кончил, занавес взвился. Давали драму «Красное покрывало»; играли: Вышеславцева, Трусов и многие другие. Тут я вся превратилась в слух и зрение, смеялась и плакала: всё и всех забыла! Вся жизнь моя перешла в актёров, и я ужасно тосковала, когда опускали занавес, и всё спрашивала, зачем всё закрыли и скоро ли опять откроют? Мне велели замолчать и сказали, что я надоела. Занавес опять поднялся, а к концу пьесы у меня сделалась опять лихорадка. Я сама не знала и не понимала, что со мною сделалось, и теперь даже не могу объяснить этого чувства.

Приехали мы домой, я целовала руки и ноги моему другу, я дрожала всем телом. Она смеялась надо мною, думала, что я простудилась, положила меня с собою спать, и тем успокоила меня. Я всё твердила, что очень хорошо в театре. Ночью просыпалась, часто и тяжело вздыхала. Утром, когда все поднялись и всё опять пришло в свой порядок, я взяла мою скамеечку и села, по обыкновению, у ног моей благодетельницы. Стала её расспрашивать о том, что вчера было такое за представление, и как это они говорят, и такие ли это люди как и мы? Она рассказала всё подробно. Я слушала её и сердце мое сжималось, я так побледнела, что когда она взглянула мне в лицо, то испугалась и спросила меня, что со мною? Я сказала: «Ничего, я здорова»; я не смела сказать ей ничего больше, что так волновало мне душу мою, а в тайне и глубоко в сердце моём я видала себя на этой сцене. Мне ещё не было знакомо чувство любви, но, четырнадцатилетней девочке, мне казалось, что я могу также сильно любить, но только что я непременно умру, коли так полюблю как Вышеславцева; уже на тринадцатом году, я была почти совсем развита физически. Я очень боялась чувства любви и с того дня пропала моя веселость.

Я поехала к матушке, чтоб поделиться с нею моими чувствами и рассказать ей, что я была вчера в театре и что я там видала. Матушка слушала меня со вниманием и заключила так: что в театр ездить грех и что она не желала бы, чтоб я туда ездила.

Но это уже было поздно, я и не задумалась над приказанием матери. Душа моя рвалась, летела в театр. Я воротилась домой, мой дом был уже у Прасковьи Аксёновны. Она встретила меня словами: «Ну, что, рассказала матери, что ты вчера видала?» Я передала ей слова матушки; она засмеялась и сказала, что она опять поедет скоро в театр. Прошла неделя, и я каждое утро спрашиваю: что, мы сегодня поедем? П. А. скажет: «Нет, ты мне надоела». Я даже похудела, дожидаясь этого дня, но вот он настал – дают «Майко»<sup>1</sup>. Афишу я выучила наизусть. Едем в театр, занавес поднялся – является Майко любящею девушкою, опять играет Вышеславцева; потом Майко сходит с ума и поёт несвязные песни; я не плакала и не смеялась, а превратилась вся в слух и зрение; душа моя отделилась от тела и перешла туда, на сцену; для меня пропал мир земной, я ничего не видала и не слыхала, как будто всё умерло для меня; когда падал занавес, я уже не спрашивала зачем и для чего это? Тут уже я всё поняла, даже поняла и то, что там моя жизнь, а здесь её нет у меня.

1 Плачевная драма П.П. Каменского, из грузинских нравов (Примеч. – «Русская старина»).

Я дрожала вся. П. А. взяла меня за руку, она была как лёд холодная. «Что с тобою?», – спросила она меня, я ничего ей не ответила и просила её идти на сцену и говорила, что там очень хорошо должно быть. Она мне сказала, что там ужасная гадость, и что туда она не пойдёт; мне было это очень горько! Но открылось последнее действие, и я тут очень плакала. Пьеса кончилась, мы поехали домой. Я занемогла душою и два дня лежала в постели. Какие думы, какие желания, какие надежды теснились в голове моей! Жар и холод ежеминутно сменялись, бред срывался с языка – вак я страдала! Но я уже не жила более этою жизнью, а уже вся перешла на сцену и видела себя играющею Майко. Мало-помалу я пришла в себя с таким выводом: театр – моя жизнь, а слова матери, как живой образ, явились передо мною: «Театр – грех»; я так и порешила, что хоть ты, театр, и грех, но я буду твоя, и встала с постели, как ни в чём не бывало.

Всё происходящее со мною я передала П. А. и решение моё также, и со слезами на коленях просила её помочь мне в этом деле. Она сказала, что я ещё дитя, что занятие это очень трудно и очень серьёзно. Но я сказала ей, что у меня нет больше жизни без театра. Она поцеловала меня и велела мне успокоиться, дала мне слово, что она будет хлопотать за меня, и велела мне быть веселее. Я, разумеется, исполнила её желание. Дня через два у нас было очень много гостей и директор театра, И. А. Никольский, тоже был у нас. Меня позвали в зал и приказали мне спеть что-нибудь. Я спела русскую песню очень грустную, а именно: «Сяду я на лавочку, погляжу в окошечко». Эта песня всем понравилась и меня заставили повторить её уже с аккомпанементом фортепиано; кто-то, не знаю, мне аккомпанировал. Все целовали и ласкали меня; П. А. взяла меня за руку и подвела к директору, да и говорит ему: «Не хотите ли, И. А., я вам дам певицу и актрису? Она с ума сошла от театра, вылечите её, она вам будет полезна».

Он спросил, который мне год; я сказала: четырнадцатый. Он засмеялся и сказал, что я ещё очень молода. Я огорчилась этим, и слезы потекли по лицу. Они стали говорить что-то по-французски, а я потихоньку отёрла слезы. Потом опять спросил меня: «Ты хочешь быть актрисою?» Я отвечала, что жить не буду без театра. «Ну, хорошо, я тебя возьму, приходи ко мне, я поговорю с тобою, ведь ты ещё ребёнок». Я ничего не могла сказать, дух занялся, я схватила его руку и целовала её с рыданиями; тут многие тоже заплакали и просили Никольского, чтоб он взял меня. Он сказал, что он возьмёт меня непременно. Тут я совсем обезумела и разразилась рыданиями; всё, что накипело на душе моей, вылилось в этих слезах; я побежала наверх я молилась, долго молилась, куда высохли все слезы на глазах. П. А. на другой день велела ехать к матушке и сказать им непременно, как она скажет. Тут вся радость моя исчезла, я забыла, что она надо мною имеет власть. Но я утешилась тем, что, во что бы то ни стало, буду актрисою и что назад не пойду, – и поехала, к матушке.

Явилась я к матушке тише воды, ниже травы, но очень трудно мне было начать говорить с нею. Много нужно было иметь силы воли, чтобы сказать такой строгой матери, что дочь её хочет быть актрисою. Она и больших-то детей своими руками, убьёт она меня, думаю; ну, будь что будет, Господи, не оставь меня! Как только хочу ей сказать, зачем я приехала, так дух и замрёт. И ходить-то в театр грех, сказала она, так тут и думать нечего, чтобы она согласилась на моё желание; но надо же было решиться, да и я измучилась.

Три недели прошло в такой тяжкой пытке. Вот я говорю ей: «Мамаша, а за делом приехала к вам». Она говорит: «Вижу, что за делом, верно лоскутков просить, – так у меня нет!». «Нет, – говорю, – не за лоскутками, мне лоскутков не надо, а благослови меня, я хочу на сцену поступить». Она остолбенела, да и говорит: «В актрисы, что ли?» «Да, – я говорю, – в актрисы». Глаза у неё загорелись таким гневом, что мне стало страшно, я упала на колени и заплакала. Говорю: «Не отказывайте мне, не губите меня».

Не забуду я её гнев, она молчала долго, наконец, разрешился её гнев. «Хорошо, – говорит, – ты придумала! Как бы я это знала, да ведала, да ведала, да ведала бы я тебя при рождении твоём; коли ты не хочешь знать матери, так пойди, утопись лучше, а в театр не ходи, а если ты ослушаешься меня, то я прокляну тебя, ты это попомни». – «А если умру, маменька, коли вы не пустите меня в театр?» – «Умри; я с радостью схороню тебя, но об этом и думать не моги».

Тут она стала бранить П. А., что она довела меня до такого позора, что она развратила меня. Мать моя думала тогда, что театр есть действительно место позора. Горько мне было слушать всё это, и просьбы мои были бы тут напрасны.

Я посидела немного, простилась, и уехала домой. Рассказала все что было П. А. и впала окончательно в отчаяние. Тут страсть к театру просто поглотила меня всю! Поговори матушка со мною не так, я, быть может, и уступила бы ей, но тут я ещё упорнее решилась защищать себя. Прошла ночь. Утром мать явилась к П. А. и взяла меня к себе; только этого и недоставало, чтобы убить меня окончательно. Осталась я с глазу на глаз с любовью к театру и предрассудком, закоренелым предрассудком.

Был праздник, вся семья собралась к обеду; мать объявила всем моё намерение; тут пошли толки, как и что, и зачем, и решили все, что этого допускать нельзя; а я уже решилась стоять в одном, да и сказала: «Допускайте, или не допускайте меня, но всё-таки я не жилица с вами; работать я не могу больше; только смотрите, чтобы вам не пришлось Богу отвечать за меня, коли я погибну; а театр не помешает мне быть честною и доброю девушкою», и что в театре есть очень честные люди.

Мать стала меня уговаривать: что когда я буду большая, то она выдаст меня за богатого жениха замуж. Я сказала, чтобы они обо мне не заботились, Мне ничего не надо. Стала я так тосковать, что нигде бывало места не найду. Каждый день видела П. А., вот и радость моя была, потом мне и это запретили, боялись, что она учит меня. Не взмилася мне свет Божий, родные точно чужие стали, и уйти-то некуда было. Стояла зима. Все веселятся, а я похоронила себя в горе, да горе! А земля спала под белым покрывалом, спала тихо. Но вот и март месяц, солнышко начало пригревать; надену бывало шубку, да и посижу на солнышке; стала я худеть и просто, кажется, грудь бы свою разорвала на части, такая нападёт тоска. Я ещё раз попыталась попросить матушку о том же; она прогнала меня и не велела напоминать ей об этом. Я ушла в монастырь; там были у нас знакомые монахини. Сказала им, что не хочу жить больше в мире и хочу остаться в монастыре. Они стали, разумеется, спрашивать – зачем, да почему. Я сказала им, что матушка не пускает меня в актрисы. Они пришли в ужас от таких слов, начали меня уговаривать и я стала молиться, читать святые книги, хотела найти нет ли где проклятия театру – и что же! Открываю первую книгу и читаю: «на всяком месте владычество Его». Не один монастырь открывает нам райские двери, но и добрые дела наши! Я спросила себя, кто же запретит мне делать их, когда я буду в театре, и ещё стало грустнее мне. Покуда я была в монастыре, меня везде искали и потеряли всякую надежду найти меня. Матушка стала тужить и думала, что я утопилась; пришла в монастырь, чтобы подать молитву обо мне. Ей сказали, что я тут. Я видела, как она обрадовалась этой вести, но грустная, со слезами, матушка пришла к монашенкам и просила их молиться обо мне. Я всё это слышала и видела, жаль мне стало мою старушку, я упала ей в ноги, просила прощения и просила её ещё раз, чтобы она не губила меня и отпустила бы меня в театр с благословением. Но она решилась оставить меня в монастыре. Я ушла из монастыря прямо к П. А. и пробыла у неё три дня. Тут я узнала, как этот ангел любит меня. Я рассказала всё, что случилось со мною. «Что же ты теперь будешь делать?» – спросила она. Я сказала, что теперь-то я непременно буду в театре, и ничего не боюсь. Я рассталась с П. А., но тут уже могла видаться с нею. Мне стало немного полегче, но здоровье мое сильно потряслось.

Воротаясь к матушке, я сказала ей, что напрасно она боится театра, что и монастырь не спасёт, коли захочешь сделать дурное дело, и сказала матушке, что меня тоже удержать трудно и что если она не захочет сделать меня дурным человеком, то чтобы более не мучила меня. Собралась вся семья – произнести мой приговор. Откуда взялись у меня смелость и сила, не знаю, а сказала им всем, что если вы не исполните моего желания, то я могу исполнить своё и, всё равно, мне не жить без театра, я не пожалею себя — Волга велика и для меня найдется в ней место. Долго они советовались, долго мучили мою душу, я сидела как мраморная; меня брат спросил, отчего я не говорю. «Нечего, – говорю я, – нечего мне сказать вам, делайте со мною что хотите, но мне не жить с вами, не ваша я теперь, и Господь вас накажет за то, что так меня мучаете. Подошла к отцу, упала ему на руки и залилась слезами. «Тятя! Заступись хоть ты за меня! Я умру скоро, у меня грудь болит от тоски и слёз». Он был добр, умён и горд, он поцеловал меня и сказал: «Удерживать её мы не имеем права и отнимать у неё, может быть, счастье всей жизни! Пусть её с Богом идёт на все четыре стороны; ещё её, может быть, и не примут».

«Ну, Бог с тобою, – сказала матушка, – только ты знай, что я тебя брошу, живи, как хочешь, одна». Горько мне было слушать её, но камень спал с сердца, я поцеловала у ней руку в говорю: «Милая, не сердись на меня, а не сделаю ничего дурного». Расцеловалась с татей и я ушла на отдых, к П. А., пробыла у ней два дня и отправилась к директору. Он не узнал меня: я очень изменилась, похудела я всё детское исчезло с моего лица. Он принял меня очень ласково. Я стала просить, чтоб он принял меня на службу. Он написал контракт, я подписала по церковно-славянски и взяла копию. Простилась с ним и прямо к матушке. Был великий четверг, все были дома, и отец причащался. Я упала в ноги матушке. «Делайте, – говорю, – со мною что хотите, а дело сделано: вот и бумага, контракта». Мать всплеснула руками, так и ахнула. Батюшка ласкал меня и целовал. «Полно, – говорит, – дура, плакать-то, молодец дочка, так их и надо, вся в меня, право молодец, только одно, что маловата ещё больно, не сладись; только веди себя хорошенько, не позорь отца, и так уж я позору-то натерпелся досыта; да не забывай отца с матерью». Тут уж все помирились со мною и разговору не стало. Началось моё торжество, праздник великий, выстраданный моим детским сердцем, выплаканный горькими слезами. «Вот сегодня, мама, я буду много есть, и выплюсь досыта», – говорю я маме, а она так тяжело вздохнула.

Настала Пасха. Как я веселилась, бегала, играла! На качелях качалась и слетела с них с самого верха, думали все, что до смерти убилась, часа два лежала без памяти, но однако опомнилась. Эту Пасху я также праздновала торжественно душою-то моею, как здесь она празднуется, в Москве, в Кремле. Ведь не шутка тоже, а актриса, а буду играть роли и мена, быть может, будут также любить как Вышеславцеву, и восторг необъяснимый разливался по всему моему существу. На другой день я пошла поздравить директора с праздником, и он поздравил меня, и объявил, что на первый раз он даст мне жалованья пятнадцать рублей ассигнациями и квартиру в театральном доме, с отоплением и освещением, и даже с мебелью. Я поцеловала у него руку. Он велел мне после праздника переехать, что он даст мне дело, такой был ласковый со мною. На третий день я отправилась к Прасковье Аксёновне и пробыла у неё всю Пасху. Боже мой, сколько разговору, сколько радости, а горести все были позабыты! Помню, что она говорила мне: «Слушай, Люба, когда ты будешь большая, ты поймешь своё назначение и чего ты так тяжело добивалась; ты узнаешь всю трудность к достижению того, что так пленило тебя; дай Бог, чтобы счастье тебя не оставляло». Я простилась с нею самым теплым, душевным прощанием и отправилась домой. Сказала матушке, что мне дали жалованье, квартиру, отопление и освещение, с чем она меня и поздравила. Я говорю, что послезавтра мне надо будет ехать в театр и там остаться. «Что же, поезжай, – сказа-

ла матушка, – живи там», а слезы так и потекли по лицу. Долго плакала старушка моя, жаловалась на непочтение детей своих. Я не понимала этого, потому что любила её, и стало мне опять её жаль. Я просила её, чтоб она не отпускала меня одну, а переехала бы со мною; а куда я звала её – и сама не знала, может быть, и одной-то ни лечь, ни сесть. «Не поеду я с тобою, и одна с толку собьёшься, так хоть глаза не увидят; коли хорошо жить будешь, так и после приеду, коли станешь хорошо держать себя». Не ожидала я, что она пустить меня одну, страшно мне сделалось. Собирать мне было нечего, в мой поход: связали мне узелочек, благословили образочком. Батюшка был выпивши, перекрестил меня, да и говорит мне: «Не приходи сюда больше, заедим мы тебя», и тут только сонала я, что мне нет уже возврата к прошедшему. Сердце моё облилось кровью, поплакала немного, да и в путь, взяла образок, которым благословили меня, взяла узелок. Распустила птичка крыльшки, да и полетела на новое гнездышко – в ветхое здание нижегородских театров, и Господь тебе по пути.

### III.

Нижегородский театр. – Труппа. — Первый дебют. – Картины на Волге. – Богомолье в Саровской пустыни. – Признания крепостной актрисы. – Петербургские артисты. – Отъезд в Ярославль.

Я с большим трудом пришла к моему новому жилищу. Двор широкий, зелёный и длинный, и на том дворе многое множество разных домов, и больших, и малых, и в этих-то домах помещалась вся труппа Нижегородского театра. Я постояла у ворот немного – отдохнуть ли хотела, или с духом собраться, не знаю; потом пошла отыскивать дворника, нашла его. Личность эта была страх наводящая. Большой, лицо красное, волосы на голове всклокоченные, голос грубый. Так и захрипел: «Тебе что надо?»

– Я новая актриса, – говорю, – покажи мне мою квартиру.

– Изволь, ступай наверх; я сейчас приду, только ключ возьму.

Я, было, в первый дом сунулась, а он на меня зарычал: «Не в этот! Вон в большой-то, на второе крыльцо, да наверх и иди!»

Иду наверх – и куда ни взгляну, так сердце и сожмется, Крыльцо, к которому я подошла, поразило меня своею грязью, и лестница, ведущая наверх, тоже. Вошла наверх, стою и жду дворника.

Тут старушка Аксакова, оказавшаяся тоже актрисой, подошла во мне и спросила: «Тебе, – говорит, – кого надобно, милая?» Я ей сказала, что определилась актрисой, и жду дворника с ключом от моей квартиры. «Да что же ты одна, разве ты сиротинка?»

– Нет, у меня есть и отец и мать, да они после придут, – и тут я заплавала.

Старушка меня обласкала в велела зайти к ней после. Пришёл дворник, отпер моё новое жилище, ключ и замок отдал мне: «Смотри же, запирай за собой как выбежишь куда».

– Спасибо, дедушка!

Я вошла в мою роскошную палату: высокая, светленькая угольная комната в три окна; одно в ширину, да два в длину; и это окошечко выходило на широкую зелёную луговину, и вся Волга из него была видна, что мне очень понравилось.

Вошла я, перекрестилась и, постояв у того окошечка, вынула образок, поставила его тут же – и думала: это окно будет моё любимое! Два другие окна выходили на двор не совсем-то чистый. Вдоль всего двора, по забору, были натянуты веревки для развески белья.

Не могу умолчать об убранстве моей комнаты. Стол, когда-то белый, теперь дымчатый от грязи и пыли; три стула, из них один цельный, другой красный с переплётом из толстой и широкой тесьмы, третьей – чёрный с соломкой, которая была продавлена с одной стороны; он же был на трёх ножках и потому стоял в углу; скамейка большая, широкая, между

двумя окнами, и над ней висячий поставец для чайной и всякой посуды; у двери ещё другой шкаф, потом по стене кровать с матрасом, набитым не то сеном, не то соломой, но очень грязным и угольником для образа. Я отошла от окна, положила узелок на стол, помолилась Богу, и заглянула в шкаф: он был для платья, но грязный-прегрязный. Вот и вся бедная картина жилища богатой надеждами актрисы-ребенка, обреченной на выходы сначала, и на разные бессловесные театральные потребности.

Разобрав принесенные с собою в узелке мои платья, пошла я по длинному коридору к Аксаковой. Добрая старушка приласкала меня, напоила чайком и всё расспрашивала, откуда я и как к ним попала. Я посоветилась сказать ей правду и отвечала, что я от бедности пошла на театр; Аксакова спросила, за жалованье или так? Я отвечала: за жалованье, и она предложила харчеваться у ней, т. е., что я могу у ней пить и есть, но чтобы я за это ей платила десять рублей в месяц. Я очень обрадовалась этому, и, разумеется, сейчас же согласилась. Напилась я чайку, и попросила её дать мне горячей воды, для того, чтобы всё вымыть и вычистить в моём жилище. Она позвала кухарку и велела всё сделать и дать мне что нужно.

Я, прежде всего, принялась за окна, вытащила зимние рамы, отворила летние; потом выпотрошила матрас, наволочку выстирала, вымыла, повесила её к русской печке сушить, а сама вымыла окна, столы, стулья, пол и шкаф. Всё заблестело у меня чистотой и порядком! Матрас опять был набит свежим сеном и соломой. Я очень устала и обедала с большим аппетитом, съела почти всё, что из дому принесла, и Аксакова дала мне щец горяченьких. К вечеру батюшка привёз мою постельку и сундучок с полным домом и сундучок с лоскутами. Я так ему обрадовалась, точно год я его не видала и оставила ночевать у себя, а то одной очень страшно было в первый-то раз. Тятя ушёл купить чаю с сахаром, а я стала разбирать мои пожитки и хозяйство. Были у меня четыре тарелки, чашка для горячего, один ножик, две вилки, солонючка, глиняная чайная чашка, один чайник белый и чайная ложка полусеребряная, которую тятя купил потихоньку от матушки, столовая, деревенская, малиновая скатерть для стола и две салфетки: вот и всё мое хозяйство! Что же касается до гардероба – он был богаче: нарядное платье, шелковое бухарское, желтенькое с чёрными полосками, потом кисейное с мушками, два платица холстинковых, одно розовое, а другое серенькое; салоп розовый с зеленым бархатным воротником, и шубка беличьё синяя, очень коротенькая; было ещё два шейных платка, один тёплый, другой газовый, шарф тоже газовый, два чепчика тюлевых: один с розовыми ленточками, другой с голубыми; маленькая перинка, две подушки, две простыни коленкоровые с кружевом своего плетения и одеяло из разных очень мелких лоскутков, тоже своей работы. Вот и всё богатство моё! Я описываю до мелочей всё касающееся до меня, для того, чтобы была видна вся жизнь моя во всех началах её, и как, и с чем я пошла в этот трудный путь житейский.

Юности у меня не было, положительно! Было детство, т. е. младенчество, а потом младенчество сменилось жизнью действительной трудовой, бурливой, слишком серьёзной для моих лет, и – что странно: никто из моих близких не умел так радостно радоваться и так печально горевать как я; непережитая юность и до сей поры осталась во мне, я и теперь иногда бываю ребёнком, да не нынешним, а былых времён. Дети настоящего времени мало бывают детьми и скоро пресыщаются жизнью, и ничему не радуются, и ничто их не печалит, вообще отживают скоро.

На третий день приехал наш директор, позвал меня к себе; я явилась, и он велел мне ходить учиться петь и танцевать. Началась моя сценическая деятельность; директор велел ещё ставить на выходы. На другой день меня позвали в класс пения; оказалось, что я не одна учусь петь, а там учатся другие девицы, подобный мне неумейки, и старше меня, и моложе; мы познакомились. Они, конечно, начали насмешками надо

мной, так что учитель велел им замолчать, а я – чуть не в слёзы. Учил нас тогда по скрипке музыкант Михаил Майоров; для первого раза я стала тянуть какую-то гамму, и у меня оказался голос лучше всех. Насмешки надо мной прекратились. После класса мы познакомились; тут были: Майорова, Семёнова и Стрелкова Сашенька, такая толстушка и маленькая ростом. Уроки пения потом были превеселые. Дали мне бумажку с линейками и на каждой линейке кругленький оник<sup>1</sup>, и под каждым оником поставлена буква; велели мне её выучить наизусть. «Мудрёная это история, – подумала я, – ни за что не выучу!» А учитель наш строгий был такой, сдвинет, бывало, брови, так страшно. Классы пения были два раза в неделю. Я свои оники заучила наизусть, и оказалась исправною ученицею. Прежде мы пели все хором; потом учитель стал заниматься со мной иногда особенно, потому что голос мой был положительно лучше других.

На следующий день я пошла в танцованный класс, там опять мы все были; не упомяну, кто тогда учил танцевать, но не забыла, что я начала прямо с па-де-баск; тогда ставили балет «Волшебную Флейту», и начинали учить те самые па, какие нужны были для балета; я училась очень прилежно и хорошо и тому и другому предмету, но балет мне плохо давался, а пение шло очень хорошо, Майоров мной был очень доволен. Потом, долго не откладывая, прислали мне роли, не одну – две разом: крестьянки из «Женевской Сироты», и горничной из «Комедии с дядюшкой». Что со мной было при получении этих двух ролей! Я не знала, куда даваться с ними от радости, показывала их всем. Мне сказали, чтобы я пошла к Стрелковой (Фионе Ивановне) и попросила её показать мне, как играть эти роли. Я выучила «Женевскую Сироту» наизусть, с большим трудом, потому что письменное я разбирала плохо и очень трудно, и пошла к Фионе Ивановне. Говорю: я такая-то, поцеловала у неё ручку и просила её поучить меня, как мне играть на сцене. Она заставила меня вслух читать. Мне стало и стыдно и страшно; она поучила меня как надо играть и подшучивала надо мной! Она занимала тогда лучшую квартиру во всём доме; квартира была вся в коврах, диваны, стулья такие славные, что я загладелась на них. Стул, на котором она сидела, был на возвышении; я тогда подумала, что она царица какая! Она тогда играла важную роль при театре. Я опять поцеловала у неё руку, поблагодарила её и ушла, в полной уверенности, что я теперь учёная актриса и сыграю отлично. А меня к ней послали на смех, чтоб позабавить её; после долго смеялись надо мною.

Тут я было простудилась: было холодно ещё, а у меня были выставлены рамы; Волга сломала лёд в конце Святой недели. Пасха была тёплая очень, но, когда Волга ломает лёд, делается очень холодно. Любовь моя к театру спасла меня.

Назначили репетицию «Женевской Сироты». Сироту эту играла Вышеславцева, мой кумир тогда и поныне, прекрасная, умная, талантливая актриса. Когда я увидела её на репетиции так близко и как подумала, что играю в одной с нею пиесе – так и растаяла! Думаю: «Не встать ли мне перед ней на колени, да не сказать ли ей, что я её очень люблю?». И я сделала бы это, кабы не пришла мысль, что она будет надо мной смеяться. Началась репетиция: я вышла на сцену, мне велели выбежать; я выбежала, начинаю говорить мою роль. Мне кричат: «Постой! постой! Дай нам-то прежде сказать! Ведь тут и мы должны говорить». Начали учить меня как мне нужно выжидать других и слушать мои реплики; я всё сделала. Три раза прорепетировали мою сцену. Дело пошло очень хорошо. По моей роли я объясняла, что беседка горит, в этой беседке спит госпожа, которая для всех благодетельница, а беседку зажгли какие-то люди. На репетиции это дело как осмыслилось, так и стало хорошо.

Вышеславцева меня похвалила. Этой радости было с меня довольно, чтоб сделать меня вполне счастливой. На другой день был назначен спектакль. Всю ночь я не могла заснуть, а утром опять была репетиция. Настал и вечер. Сердце у меня с утра было не на месте, и страшно-

1 Оник – буква «о», а также – кружок, колечко, нолик. (Ред.).

то мне и весело было. Вечером одели меня в коротенькое красненькое платьице, в чёрный лифчик с коротенькими рукавами, белый кисейный фартучек; на голову надели чёрную круглую шляпу, которая мне была очень велика. Начался спектакль, и мне надо было бежать на сцену: «беги», говорят мне, а у меня ноги приросли к полу; кто-то сзади вытолкнул меня на сцену, так сильно, что я невольно должна была побежать, да всю свою роль проговорила с начала до конца без остановок, с таким жаром и одушевлением, что никому не дала сказать ни одного слова, заплакала и убежала со сцены; заплакать надо было по пьесе, а я и в самом деле заплакала! Публике это понравилось, меня вызвали и аплодировали мне очень долго, а за кулисами смех такой пошёл, что я никому не дала сказать слова. У меня закружилась голова от радости, что меня вызвали и что мечта моя осуществилась. Вышеславцева меня обласкала, велела к ней придти. «У меня, – говорит, – такая же есть актриса Маша, моя племянница». Мы познакомились, потом были с Машею подругами.

Как я была довольна, как я молилась в этот вечер, и не умела благодарить Царя небесного! Воротясь домой, дала себе слово не спать всю ночь. Ночь была лунная, тёплая, лед уже прошёл на Волге, я погуляла по лугу; воротясь домой, поужинала и села к окну глядеть на луну и Волгу. Как мне было хорошо в этот вечер. Я и теперь не могу дать отчета, что я чувствовала, а так просто – было хорошо! И глядела я на луну и на Волгу, я на Волге слышались песни бурлаков, то полные грусти, то полные радости; так покойна была эта ночь, и всё я пела песни, у открытого окошка, и не было человека счастливее меня в целом мире. Стала заниматься заря: свежо сделалось в воздухе, и сквозь лёгкий туман, точно сквозь кисейное покрывало, на Волге стали показываться караваны. На Волге, как только сойдёт лёд, иногда ещё и не совсем, идут целыми стадами суда разной величина и красоты. Волга с Окой под Нижним разливаются вёрст на сорок шириною, по отлогому берегу; затопит всю ярмарку, все луга, все селенья, все леса вокруг себя; у лесов, в ином месте, только и видны одни макушки, а селения словно на ладошке стоят на белом песке и такая-то красота, что глядишь, глядишь, и не насмотришься, только вздохнёшь, да сотворишь молитву.

Вот, по широкой Волге идут караваны; далеко, далеко видна река в разливе; из Нижнего с откоса, при солнышке, даже Балахну видно. Стало уже светло, вот показалось одно судёнушко как точка, а потом делается чайкой... Чайка растёт, растёт, и летит на своих белых крылышках – парусах вниз по Волге-матушке, а за нею точно в погоню гонятся, и ещё и ещё с белыми как снег парусами в три и даже в четыре яруса, по три, по четыре, по пяти судов в ряд, а из-за горы им навстречу встанет солнышко, и прямо так и глянет им в лицо. Какая эта картина бывает чудная! Туман на парусах отликает радугой; радуга идёт всё выше и выше, очистится весь воздух и осветится весь караван, и глаз не может видеть конца ему! Сделается и грустно и радостно, и такая тишина кругом тебя, точно сам, Господь сошёл на землю, чтоб водворить эту тишину и чтобы поставить каждое дело своей рукой великой на свою святую землю. В это утро случилось несчастье на Волге, на самой стрелке. Было уже часов шесть утра, быстро шло одно судёнышко, полное грузом, потому что глубоко сидело в воде, и в одну минуту перевернулось носом вниз. Вся прислуга бросилась спасаться, начался крик о помощи, косные<sup>1</sup> лодки роем полетели к ним на помощь, и, как узналось после, почти все были спасены. У расшивы<sup>2</sup> же прорезало льдиной самый нос, и расшива пошла ко дну со всем грузом. Да, Волга, как холодная краса-

1 Косная лодка – парусно-гребная двухмачтовая лодка, отличавшаяся лёгкостью хода. Несла на себе две мачты, на корме имела помещения для кормщика, в средней части – навес для пассажиров и банки для 4–12 гребцов. Вдоль бортов для хранения багажа и провизии устанавливались рундуки. (Ред.)

2 Расшива – большое деревянное (материал – сосна или ель) плоскодонное парусное судно, с острым носом и кормой, плавали по Волге и Каспийскому морю. До появления пароходов были наиболее распространёнными речными судами. (Ред.)

вица, любит жертвы; ни одна река не поглощает столько человечества, как Волга, потому ли, что она людна очень, или потому что быстра – Бог её знает.

А как хороши были прежде суда на Волге, покуда пароходы не вырубили лесов по берегам и не избородили всей Волги; расшива, например, что это за прелесть! Большая, широкая, с крутым, расписным носом! Вся, начиная с бортов, унизана разной работой, разрисована яркими красками изображениями венер и сирен, которые глядятся в воду. Мачта высокая, оснащенная канатами равной толщины, с разными украшениями; да как поднимут паруса – ну, точно царица водяная, роскошная, богатая! Стоят на якоре – так к ней и подъехать-то страшно, а на ходу того гляди раздавит....

Не знаю уж когда я уснула, на том окне, и видела во сне, что а играю большие роли, как-то «Майко», «Красное покрывало», и др., и так мне стало страшно и холодно. Аксакова разбудила меня и выдрала за ухо, зачем я отворила окно.

– Опять, – говорить, – тебе простудиться захотелось! Иди чай пить!

Добрая старушка, я так полюбила её. Было девять часов, а мне так шею было больно, повернуть не могла, а она ещё тут за ухо дерёт! Надулась я и пошла чай пить, а Аксакова была истинно добрая женщина.

Второй мой дебют не замедлил представиться; второй спектакль был на Фоминой – балет «Волшебная Флейта» и «Комедия с дядюшкой». Я участвовала в балете, и танцевала с помелом в руках; играла Лизу горничную в «Комедии дядюшкой». Этот спектакль прошёл благополучно. Потом стали ставить ещё «Роберта»; я участвовала в хоре. Голос мой все признали очень хорошим; директор велел мне разучивать две партии: в «Волшебном Стрелке» – Агаты и в «Аскольдовой могиле» – Надежды. Обе эти пьесы велено было готовить к ярмарке. Как у меня в голове закипело и зашумело: такие две роли дали, что лучше их во всём театре не было; принялась я их учить с такой радостью, с таким рвением, и дала себе обещание – как только выучу их, то поеду молиться Богу, и поклониться отцу Серафиму в Саровскую пустынь. В течение одного месяца я почти приготовила совсем мои две оперы; сделали мне репетиции и велели отдохнуть. Я попросилась у директора ехать в Саров, чтобы исполнить данное обещание; он пустил меня и дал целковый на дорогу; тут и Вышеславцева тоже дала целковый и велела привезти просвиручку. Родных моих я стала видеть редко, Прасковью Аксёновну тоже, но я сходила и простилась с ними. Моя благодетельница дала мне три рубля на дорогу. Поехала я не одна, со мною поехала ещё Семёнова, молоденькая хорошенькая актриса, и актёр Николаев, жених её. Наняли мы телегу парой до Арзамаса; в Арзамасе я хотела пробыть несколько дней у сестры моей. Снарядились и отправились в путь.

До Арзамаса доехали очень скоро. Нечего и говорить о встрече с сестрой моей: она любила меня и мы обе заплакали от радости; рассказам конца не было. Привет сестры моей навсегда останется у меня в памяти, тёплый, радостный. У ней уже у самой были дети, но, чтобы не расставаться со мной скоро, она решилась сама ехать в Саров, даже с грудным ребенком. Лошадей нам тут дали даром – крёстная мать моей сестры. Мы отправились в Саров рано утром, с тем, чтобы заехать в гости на обед к одному помещику, у которого был свой театр и оркестр.

Приехали мы и к помещику, приняли нас со всем парадом, и обед был чудный. Помещик этот был больше зверь, чем человек. Показали нам театр; девушек у него было двенадцать, все в ситцевых платьях и чёрненьких фартучках. Это, – говорить, – все актрисы. Они были все такие изнуренные, не многие из них были похожи на живых людей; жили они все наверху, то есть во втором этаже. В доме было чистенько, но ничего особенного, и всё вместе принимало такой унылый вид. Мне стало как-то нехорошо у помещика, и я просила, чтобы уехать поскорей. Вид этих девушек так нехорошо на меня подействовал. После обеда мы стали со-

бираться в путь; ехать в Саров с нами здесь оказалось много желающих, и на этом основании мы должны были своих лошадей оставить здесь, а нам снарядили тройку хороших лошадей и линейку<sup>1</sup>. Поехало нас двенадцать человек. Лошади летели и чрез два часа мы были в Саровской пустыни. Дорога к Сарову шла густым высоким Муромским лесом, вёрст на двадцать шириною, и что его за лес! Чудо, – ровный, густой! Дорогой было весело, все говорили, смеялись много.

Только что миновали лес, вся пустынь нам открылась, со всеми церквями и как снег белыми зданиями; красива она, очень красива! Стоить на высокой горе, окружённая дремучим лесом, и как поясом опоясалась своей маленькой рыбной речкой Саровкой... Как теперь я вижу всю её! Какой это прекрасный, Богом благословенный уголок! Проехали мы мостик и поднялись на гору, так быстро, что я вздохнуть не успела. У крыльца приют для странников; вышли из линейки, я перекрестилась и помолилась на собор; сейчас же все мы отправились к собору поклониться гробнице отца Серафима; гробница его была подле самого алтаря. Вечерня уже отошла, мы помолились и приложились к чудотворному образу Божией Матери. Потом пошли гулять и осмотрели всю обитель; какая везде белизна, чистота, точно она сейчас выстроена и человек ещё не жил в ней, пылинки нет, ветру поиграть не с чем. Церквей много, у келий у всех садики фруктовые и покрытые сетками, а большой сад идёт по всей горе, идёт до самой речки. Собор большой прекрасный. Как мне понравилось тогда там, в этой пустыни: такое благочестие, такая святость покоилась на ней! Все монахи – да, все до единого, внушали уважение своей скромной одеждой, своими истощенными лицами; ни одного монаха не встретите в этой пустыни толстого с красным носом и с наглыми глазами. Саровская пустынь окружена густым тёмным лесом, и конца этому лесу глаз не видит! Только светлые главы церквей мелькают кой-где сквозь ветви, да ещё видна обитель женская, Девий монастырь, как её называют, верстах в пятнадцати от Сарова, тоже в лесу. Погулявши достаточно, напились чайку вместе с ужином и полеглись спать.

Я встала к заутрени с одной старушкой, была и у обедни, отслужила молебен чудотворному образу и панафиду<sup>2</sup> отцу Серафиму. Потом пошла прямо в трапезную; там был общий стол, особенно никому не подавали и говорили, что здесь все равны, у нас один общий стол, и действительно вся толпа вошла в трапезную, а иным, кому недоставало места, накрыли стол на дворе. Трапеза была отличная: прежде были поданы блины; потом уха, потом грибное блюдо и жареная рыба, потом оладьи с мёдом и ягоды с молоком. Монахи говорили, что у них бывает постоянно такая трапеза для богомольцев, но более трех дней там оставаться никто не может. Молящиеся там бывают всё больше народ простой, русский, но обитель богатая; все монахи сами обрабатывают землю, остаются в монастыре только старый и немощный, но, кто бы ни был посвятивший себя в эту обитель, должен был нести сам все тягости трудной работы. После обеда мы ещё раз поклонились святому угоднику, и отправились в путь.

Было воскресенье. Только что мы проехали лес, от которого дорога шла волоком к какому-то большому селению, помещавшемуся на двух горах. Посредине был глубокий ров, опушённый мелким кустарником; при въезде в село шла крутая гора, от самых ворот до мостика чрез ров. Лошади наши заиграли, кучер сдерживал, но они заупрямились; кучер собрал силы, чтоб остановить их, и вдруг у коренной лопнула вожжа, и они понесли нас, да не попали в ворота, а одним боком наехали на воротный столб, экипаж наш опрокинулся набок! Кто как мог, тот так и повалился; меня и старуху тащило по селу, но мужики, увидав

1 Линейка – конный пассажирский экипаж с продольной перегородкой, в котором пассажиры сидят двумя рядами спиной друг к другу, боком к направлению движения. (Ред.).

2 Терновника. (Ред.).

это событие, на всём бегу остановили лошадей наших. Не будь праздника, отслужили бы по нас тут же панахиды. Подняли нас; кучер был ушиблен сильно, и умер чрез месяц, старуха ногу сломала, а я оставила всю кожу со спины на дороге, да не чувствовала ничего, вскочила и побежала к сестре; она сидела посреди дороги с ребенком на руках. Из господского дома вышли к нам на помощь гувернантка, горничная и лакей с водой и вином, и стали они мне размывать спину; тут уже не помню ничего, но знаю, что как они налили мне на спину воды с вином, я так и покатила замертво. Не помню, как мы приехали к знакомому помещику, и как меня положили наверху в постель. Долго я не могла спать ни на боку, ни на спине, а спала, положив голову на руки, да к стенке прижмусь – так и усну. Помещик вечером пришёл навестить меня, и так посмотрел на меня, что стал он мне гадок, я попросила его уйти; он прислал мне девушку, которая должна была и ночевать со мной. Девушка пришла с красными от слёз глазами. Я ничего не могла спросить у ней, о чём она плачет, потому что сама страдала ужасно. Я об себе заговорила:

– Дай, – говорю, – мне, милая, водицы выпить, тебя как зовут?

– Парашей.

Дала воды.

– Вот, – говорю, – милая Параша, как я изранена; вот – пожалуй, кожа у меня другая не вырастет!

– Нет, барышня, вырастет, а вот у нас так знать радостей-то не вырастет! – и опять заплакала.

– Разве тебе, Параша, не хорошо здесь жить? Милая, что это ты так плачешь, полно!

– Ах, барышня! Бог от нас отступился, вот что!

– Ах, Параша, грех так говорить, Бог ни от кого не отступается. Коли тебе скучно, ты лучше помолись; это на тебя искушение нашло!

– Нет, барышня-матушка! Так тяжело, иной раз руки бы на себя наложила, да тоже Бога боишься! Вот мы мученицы просто! Ведь барин-то наш хуже пса какого! Злодей он, ему и на каторге нет места, развратник! Теперь нас у него десять девок; возьмёт от отца и матери, станет грамоте учить, чтобы, вишь ты, на киятре<sup>1</sup> играть разные штуки, а сам из девки-то всю кровь выпьет, а потом замуж отдаст за какого постылого мужика. Теперь и девок-то, почитай, ни одной нет во всей деревне, кроме маленьких. Намедни пришла Настасья с женихом, чтоб повенчать велел, просится; нельзя! теперь, говорит; Настасья хорошенькая; ей, говорит, надо ещё поучиться, а та, говорит мужику-то, и не думай об ней; так тот и пошёл, а она хочет в реку броситься. Не буду, говорит, учиться у него, вот что. Вот, Липку прогнал, и помучилась она, не хочу, говорит, я у вас, барин, жить, хоть живую в землю закопайте. Побился, побился, да и прогнал, иди, говорит, куда знаешь, только не смей у меня в деревне жить! Пропала куда-то, ни слуху, ни духу нет! Отцы-то с матерями плачут, плачут, просят, чтоб он не брал нас, а он ещё нарочно поскорей возьмёт, поддержит, поддержит, да за какого ни на есть мужика и отдаст. Аксюшку муж-то в гроб заколотил, ты, говорит, барская наложница, так и жила бы с ним! Да так-то многих. Мужики жаловаться на него ходили, так он им же сказал: не велите девкам своим виснуть ко мне на шею! Да мужиков-то всех передрал, чтобы вперёд не жаловались! Да, матушка-барышня, я хоть и сиротинка, да жаль очень себя-то, сколько раз утопиться хотела, да нешто легче будет? И душу-то загубишь. а уж как невыносно, что и сказать нельзя.

Опять Параша заплавала. Мне стало так жаль её, что и я заплавала тоже.

– И мужики-то, и дворовые все измучены, – продолжала она, – и на охоту, и в киятр играть; все, какие есть, молимся Богу-то, чтоб скорее издох, да не издыхает!

Мы поплакали порядком, я положила голову на руки, облокотилась на локотки; девушка мне положила подушку на колени, и я облокотилась на неё; спина моя болела очень сильно, и мне предстояло так ночевать очень долго.

Так меня эта девушка опечалила рассказом о своём барине, что и земля-то мне показалась кровяною в этой деревне. О, Господи! Как подумаешь, что было тогда, и что теперь стало! Тяжело вздохнёшь и печально о том, что было даже двадцать лет тому назад, и какую радостью наполнится сердце каждого человека, сочувствующего народному благу настоящего времени, и подумаешь, какими молитвами должны мы молиться за нашего Государя!

Когда я возвратилась из своего путешествия, отец приказал матушке жить со мною: «А то бросили, – говорит, – девчонку на ветер». Матушка и сама стала скучать; она осталась одна, батюшка поступил в должность управляющего, братья все были по местам. Она переехала ко мне. Тут-то жизнь моя пошла иначе. Матушка больше не сердилась на меня, и увидела сама, что она очень ошибалась насчет театра, думая, что он самое позорное место, и даже сама плакала, слушая как я распевала мои две оперы. Спина моя стала подживать, я продолжала играть маленькая рольки и иногда пела в дивертисментах; публика меня ласкала за мой голос, всякий раз я должна была повторять, что бы я ни пела. Мне стали завидовать, и даже одна важная особа просила директора, чтобы он рекомендовал меня на какой-нибудь другой театр, потому что у важной особы были свои сестрицы – певицы на сцене: ну, она стала не любить меня. Тут подросла ярмарка, всё закипело словно в аду. Театр переехал на ярмарку, пошли каждый день спектакли, дела и у меня стало много. Артистов столичных к нам наехало много. Из Питера приехала Ю. Н. Линская, из Москвы А.А. Бантышев и много других. Вот с Бантышевым и стала я играть оперы, прежде «Стрелка», а потом «Аскольдову могилу», и была принята публикой не хуже его. Он мне один раз и сказал, чтобы я приезжала в Москву; а мне это показалось так смешно. Ю.Н. Линская мне очень понравилась и она полюбила меня. Я была её пажом: где она – тут и я уж непременно! Пробралась и в номера, где она стояла, и очень часто наслаждалась её беседою. С каким наслаждением и недоверием слушала я её рассказы о Питере, как они служат, и как часто видят Царя, и сказала сколько она получает жалованья, так я и обмерла и, признаться сказать, не поверила ей; счастью моему просто конца нет. Мы с ней и до сей минуты любим друг друга самую теплою любовью. Здесь же ярославский антрепренёр высмотрел меня и ангажировал на свой театр; дал мне пятьдесят рублей жалованья в месяц. Как кончилась ярмарка, я и снарядилась в Ярославль, простилась с дорогими моему сердцу, отцом, братьями, с П. А. Д. и А. А. В., и отправилась в путь в матушкой. Грустно мне было оставить Нижний, мою родину, но думать было нечего, сама избрала свою дорогу.

Приехала я в Ярославль благополучно. Ехало нас много в одной крытой телеге. Ярославль мне очень понравился; городок чистенький, театр каменный, прекрасный, и Волга, моя задушевная Волга! Я скоро привыкла к моему новому жилищу. Остановились мы в гостинице при постоялом дворе, близ театра; квартира опрятная, хорошенькая; одна комната большая, потом маленькая, без окна, и кухня, окнами в светлый коридор, и мебель хорошенькая: столы, комоды, две кровати, одна с ширмами. Здесь, в Ярославле, началась моя полная жизнь. На пятнадцатом году у девиц не без разных приключений, а я была такой ещё ребенок, что многого не понимала самого простого и обыкновенная в жизни. В Ярославле меня полюбили окончательно все, и артисты, и публика. Тут я нашла Ленских, мужа и жену, людей талантливых и добрых. Ленская меня так полюбила как сестру родную, и я ей ответила тем же. Тут было ещё семейство Бешенцевых, людей очень почтенных. Бешенцев был оперный певец, он принял во мне живое и самое тёплое

участие и даже стал учить меня петь, тоже со скрипкой. Я привязалась к Башенцеву душой и даже звала его папашей. Он был лет пятидесяти, и говорили, что он из петербургских.

В Ярославле не замедлили моим дебютом...

#### IV.

Новые товарищи. – Жена антрепренёра в роли «Руффианы». – Подвиге широкой натуры – Актриса директорша. – Похищение. – Первая любовь. – Первое стихотворные опыты.

Дня через три по приезде моём в Ярославль я дебютировала в дивертисменте, пела русскую песню «Вечерком румяну зорю»; одели меня в бархатный синий сарафан и повязку с камешками. Когда я вышла на сцену, громкие рукоплескания встретили меня; я пропела мою песенку, и меня заставили повторить её; я пропела ещё раз, но публика требовала, чтобы я ещё пропела. Я устала и хотела отдохнуть немного, но тут случился со мной смешной анекдот. Мой новый начальник любил иногда выпить. Вот тут-то он, будучи под хмельком и сыбша, что публика очень волнуется и желает, чтобы я ещё пела, пришёл в неопisanную радость, прибежал за кулисы и прямо ко мне, схватил меня за руку и стремительно вывел на авансцену, сказав при всей публике: «Девица Косицкая, пей!» Публика очень долго смеялась над этим событием и вызывала меня несколько раз.

С этого дебюта я стала любимицей публики в Ярославле. Тут-то я убедилась, что моё непослушание воле родительской было правым делом, и тут-то стала я кормить себя и матушку своим трудовым куском и даже покоить её по мере возможности. Трудные и черные работы пошли в чужие руки, и мне стало весело и радостно глядеть на мою жизнь. Матушка, слыша мне громкие похвалы, сама даже была в театре один раз, когда я играла Михаэлу в «Дочери Карла Смелого», и очень ей это представление понравилось; после этого она всё поглядывала на меня и улыбалась, но мне ничего говорить не хотела. Да! Полюбила меня ярославская публика, и тут начались ухаживания, преследования, но я ещё все-таки была ребёнок, не понимала ничего, только смеялась. Ухаживания делались серьёзными и стало мне не на шутку досадно. Занималась я делом своим на сцене серьёзно, и никакому другому чувству не было места во мне. Дело шло очень хорошо, но тут как на грех влюбись в меня один купец, богатый, красивый собой, но женатый. Об этой любви я не могу умолчать. Начал он за мною ухаживать, ходить за кулисы, чтобы только видеть меня, и каждый раз, бывало, принесет, что-нибудь мне, или фрукты, или конфекты. Я всё брала и ела, стали надо мною шутить на его счет; я, бывало, – плакать; шутить перестали, а он не на шутку стал ухаживать, а я, в простоте сердечной, ношу к себе домой конфекты. Мать заметила это и спросила, где я беру их; я говорю: «Дарят!» – «Кто?» – «Такой-то господин». – «Ты у меня не смей брать конфекты, они, – говорить, – мошенники, так угодят, что и не опомнишься!»

В первый же спектакль, я конфект не взяла от него, а он прислал целый пуд и велел разделить всем барышням поровну, и опять я была с конфектами, и так он долго кормил нас и стал мне говорить, что он любит меня, а я бывало, засмеюсь да и убегу от него. Матушка узнала, что он ухаживает за мною, стала мне говорить разные неприятности; меня это очень обидело. Я стала удаляться от него, а он нарочно стал следить за мною; где-нибудь поймает меня и непременно скажет, что любит меня и зачем я такой ребенок; а я рассержусь, и прошу его, чтоб он не говорил мне этого, а то я его возненавижу; он смеялся. И странно: этот человек решительно знал каждый шаг мой, и где, и как бы я ни пошла, я его непременно встречу, и так как он знал, где я бываю, и потому я встречала его у всех моих знакомых. Директорша наша очень любила меня, я часто гащивала у ней, особенно в отсутствие её мужа. Это обстоятельство, разумеется, было известно моему обожателю.

Один раз встретил он меня у директора и сказал мне опять, что он меня любит. Я очень обиделась и заплакала, но не сказала ему ни слова. Он сказал: «Не сердитесь на меня, я не могу владеть собою, а лучше пожалейте меня». Я говорю ему: «Я не могу любить вас, я боюсь вас, я никого не могу любить». После этого он стал холоден со мною, и всё, бывало, он смотрит на меня своими большими глазами. Я стала покойнее, перестала бояться его и не понимала, чего тут именно я должна была бояться. И случилось со мной страшное событие, которое показало мне, что Господь любит и хранит меня.

Директор наш уехал куда-то на неделю; это было незадолго до Рождества. Я, разумеется, была приглашена директоршей гостить к ней, на это время; я охотно всегда исполняла такую честь и отправилась к ней гостить. Ночью, ложась спать, она мне много говорила хорошего о моём обожателе; я сказала, что он мне не нравится, и уснула преспокойно; и вижу сон, будто гуляю я в прекрасном саду и так в нём много прекрасных цветов и фруктов. Стала мучить меня жажда, я хочу сорвать какой-нибудь фрукт, и только протяну руку к которому-нибудь и на нём сделается лицо моего обожателя, и стало мне так страшно, так страшно, я бросилась бежать, бегу, бегу, прямо к реке, и на мост; добежала до половины моста и вдруг ангел остановил меня и исчез; я взглянула под ноги, и предо мной нет моста, а одни только перекладыны, и то из ножей, а внизу вода, и если я сделаю ещё шаг, то упаду на ножи прямо. За мостом вижу ту самую комнату, в которой я сплю, и в ней сидят много гостей, мой преследователь и директорша: едят, пьют и зовут меня к себе, я не могу с места двинуться; мой обожатель подает мне стакан вина; только я взяла его, и весь мост около меня провалился, и я осталась на одной дощечке. Я бросила стакан и сама полетела на берег, и опять ангел явился мне, и я проснулась; такой страх обуял меня, что дрожала как в лихорадке; осмотрелась кругом, и заснула опять, но очень измученная моим сном.

Проснувшись, я никому не говорила о моём видении; но запомнила его. Утром была репетиция, спектакля в этот вечер у нас не было.

Вечером к директорше приехали гости, разумеется, и мой злодей был тут; они стали веселиться, пили и ели; я сидела в спальне и не хотела выходить к гостям, но директорша меня просила выйти, и я исполнила её просьбу; это было всем очень приятно; я посидела немного и опять ушла. Наконец они все пришли ко мне и просили, чтоб я побеседовала с ними, и мой обожатель подал мне стакан вина и просил, чтоб я его выпила. Когда я взяла стакан, комната вся и положение лиц стали так схожи с моим сном, что у меня в глазах потемнело; я попробовала вино и оно мне не понравилось, серой пахнет; я немного отпила, и улучила случай вылить это вино в кружку с квасом. Меня просили выпить ещё, но я отказалась, сказав, что голова болит. Немного погодя, нам предложили ехать кататься на тройках. Когда мне предложили это, сердце у меня замерло и я окончательно не знала, что мне делать. Вспомнила сон свой и схитрила: согласилась ехать, но просила, чтоб меня проводили к матушке взять большие тёплые сапоги, и сказала, что я сейчас вернусь, накинула платок и шубку, да и тягу. Мне дали человека проводить меня; иду я через площадь – точно меня кто хватает сзади, я чуть не бегом! Человек говорит мне: «Вот молодой-то народ, погулять хочется».

Вошла в комнату, матушка сидела читала; я взяла у неё десять копеек, вынесла человеку и говорю: «Матушка не пускает, она нездорова и хотела сейчас послать за мной; кланяйся, мол, и благодари!» Тут только я свободно вздохнула! Матушка спросила, что это значит, что я ушла оттуда? «Голова, – говорю, – болит, а там гостей много. «То-то, – говорит, – на тебе лица нет, ляг, да усни», – и приласкала она меня, голубушка моя, села ко мне, погладила мою голову, поцеловала меня, а мне стало так грустно, так тяжело! И покататься-то хотелось очень, и стало мне жаль

этого человека. Думаю: должно быть эта любовь очень тяжелое чувство, потому что он так похудел, такой стал печальный, и вспомнила я, как полюбила театр, как похудела тогда и чуть-чуть было не умерла! Пожа-луй, и он умрет! И так мне стало жаль его; слёзы, слёзы так и потекли на подушку.

Утром была репетиция, а вечером спектакль, я играла. Одевалась я вместе с Ленской в одной уборной; я была уже одета, он вошёл ко мне, Ленской тут не было; он взял меня за руку.

– Вы, – говорит, – очень хорошо понимаете, что всё, что я делаю, это всё для вас, для одних вас; поймите также и то, что нет силы на свете, которая отняла бы вас у меня, где бы вы ни были; у меня без вас нет жизни, вы всю разбили её, прощайте!

Долго я не видала его после этого разговора, недели две; говорили, что он уехал в Москву.

Перед Рождеством, кто-то неизвестный прислал мне подарок, лисий салоп и белую шляпку; обе эти вещи были очень хорошенькие. Матушка не велела мне надевать их, и даже хотела отослать обратно, да не знала кому и куда. Я, разумеется, не смела надеть этих вещей, хотя мне и очень хотелось. Салопчик мой был очень плохенький, заячий с лисьими полами.

Прошло Рождество, прошли и святки; мой обожатель появился опять, но видала я его очень редко, и он действительно изменился в отношении ко мне, стал сухо обращаться со мною. Я была покойна и думала, что он оставил меня, но не тут-то было!

Я уже говорила, что мы стояли в гостинице, при постоялом дворе; соседний номер с нами был занят, а наш был угловой. Соседа нашего я никогда не видала, приезжал он поздно, иногда и совсем не приезжал. Дверь в этот номер от нас была заколочена наглухо. Матушка моя, как женщина старого покроя, любила Богу молиться, и часто, уходя к утрени в церковь, запирала меня кругом. По обыкновению, в какой-то праздник пошла в церковь и заперла меня. Я сплю, не чую над собой беды, но как бы я сладко ни спала, ухо моё, всегда чуткое, услышит, как мышь пробежит по комнате. Только что ушла матушка, слышу – что-то шевельнулось у нас в комнате. Я проснулась, оглядела кругом, вижу ничего нет, сотворила молитву, и опять забылась; но слух мой меня не обманул, я почуяла чье-то дыхание подле себя, открыла глаза и – Боже, что со мною было! Как передать тот ужас, ужас девочки, для которой лучше было умереть, чем лишиться доброго имени: этот человек стоял передо мною, бледный как смерть, с лицом, полным страдания и ожесточения против непреклонной девчонки. Я хотела закричать, он зажал мой рот рукою.

– Хоть кричи, хоть не кричи, никто не услышит! Весь дом пуст!

Я дрожала как лист от ветра! Что я думала в этот ужасный час, я не помню; встала на колени и просила не губить меня. Я говорила, что я полюблю вас, только теперь оставьте меня... Но всё было напрасно! Он сжал меня в руках своих, борьба была невозможна, и в это время опять чудо совершилось со мною: в коридоре посыпались чьи-то шаги, и так сильно ступавшие, как будто шло несколько человек; он высвочил из комнаты. Я забыла всё. прямо в кухню, и вместе с рамой вылетела в коридор и под лестницу. Услыхала, что матушка идёт. Я позвала её к себе, и она вытащила меня из моего убежища. Наутро всё узналось, дверь была отперта из соседнего номера, гвозди все вытасканы, и двери были свободны, и в это время не было ни единой души во всём доме.

В этот же день матушка жаловалась начальнику губернии, и злодея моего обязали подпиской не преследовать меня больше; но и тут я не ушла от него, видала каждый день! Опротивел он мне до безобразия, и жалела я о нём, а он ещё теплее стал смотреть на меня. Потом он уехал из Ярославля на время, чтобы скандал этот, о котором все узнали, затих хоть немного. Тут я стала свободна и ходила куда хотела, ничего не опасаясь. Дела мои по театру шли успешно.

На масленице, Ленская делала праздник, куда и я был приглашена после спектакля. Кончила я спектакль, оделась, взяла сторожа и пошла к Ленской; иду ничего не думая, кроме как об удовольствии, которое ждёт меня, вдруг снег за мною захрустел под иной поступью; я оглянулась, за мною шёл не сторож; я ускорила шаги и только завернула за угол чувствую, кто-то схватил меня, я не успела крикнуть как была на чьих-то руках, и эти руки так крепко держали меня, что только сердце мое билось свободно. Я увидела, что в руках опять этого человека, и память мне изменила!.. Очнулась я в какой-то бедной комнате, свет был только от лампы; слышу, кто-то плачет подле меня, но не слезами разбойника, и так горячо целует руки мои, а слёзы так и капают.

– Не бойся меня, я ничего худого не хочу тебе сделать, я так люблю тебя!

После таких слов камень спал у меня с сердца: слова эти были сказаны человеком, глубоко любившим меня; я не видела больше в этом человеке врага своего, но видела бесконечную любовь и, что странно, я сама полюбила его – да! Только тут он явился передо мною человеком, а не зверем! Я поглядела на него, я была совсем обессилена.

– Зачем, – говорю, – вы привезли меня сюда?

– Вез-то я тебя, чтобы ты полюбила меня, а теперь вижу, что ты не можешь и не хочешь любить меня, а насильно я ничего не хочу; я теперь наглажусь на тебя досыта, да и отвезу назад! Бог с тобой, не любишь, так и не надо!

Так мне стало жаль его, я хотела сказать, что не люблю его, да и сказала другое. Как прошёл ещё час времени или пролетел, писать об этом трудно. Помню только то, что я рыдала как рыдают дети, когда разобьют свою любимую игрушку. Поглядели ещё друг на друга, обнял он меня и поцеловал, крепко, крепко, и отвез к Ленской. Было два часа ночи, у ней шёл пир горой.

Так тем и покончилась моя любовь к этому человеку.

На первой неделе поста он уехал в Сибирь, отец его послал туда по делам. Не расцвело моё первое, любовью бившееся чувство – да, так и завяло. Матушка часто говорила: «Бойся мужчин, они – змеи искусители». Я и боялась их, покуда молчало моё сердце, а заговорило оно и страх прошёл! А потом стало ещё страшнее; я и забыла прошедшее, а может быть, и не поняла его всю важность, и все-таки оставалась чистою для всего, что окружало меня.

После поста к нам приехал Павел Васильевич Самойлов; я играла с ним в «Велизарии» и пела романс «Малютка, шлем нося, просил». Самойлов был славный драматический актёр, он тут играл много, и я очень любовалась его игрой. Я-таки долго тужила о случившемся со мной, но чего нельзя воротить, о том нечего и тужить, но сердце мое просило, жаждало любви.

Играла а часто и очень счастливо; репертуар мой большею частью заключался из водевилей, публика меня очень любила и ласкала; в бенефис Ленской я играла Агату в «Волшебном Стрелке», а она – Анету. Спектакль этот наделал много шуму. В заключение мы обе танцевали матлот<sup>1</sup>. Я как вспомню теперь, от смеха удержаться не могу, потеха да и только: я танцевала матлот, не имея понятия, что такое значит танцевать, и в коротком казацком платье: белая кисейная юбка, сверху красный шерстяной камзол, опушённый ватой вместо лебяжьего пуха, на голове красная шапочка с углами, тоже с ватой. Мы танцевали, да ещё как хорошо, заставляли повторять; театр ярославский был очень богат костюмами; в нём водились и бархат, и шитые золотом наряды. Желание сильных ощущений и сильные тревоги здесь, в Ярославле, развили окончательно мои поэтические наклонности; они открылись с весною вместе. Постом мы ничего не делали, и летом шли спектакли очень редко, и вот настало время, когда душа моя стала просить чего-то ещё,

какой-то неги, какого-то теплого чувства необыкновенного. Я видела, что всё вокруг меня любит, всё живёт непонятно для меня жизнью, но я не могла ещё найти для себя ни одного человека, на ком бы остановилось моё внимание. Хотя ухаживателей было много, но сердце моё молчало, и я обратила мою душу на поэзию. У меня уцелели некоторые из моих первых стихотворений. Надо сказать откровенно, что я писала тогда печатными буквами, и чтобы посмешить, читающих мои заметки, я помещу здесь верный снимок моих первых стихотворных опытов:

*Как всё вокруг меня живёт и веселится,  
Лишь я одна для всех чужда;  
С тоской души моей здесь вряд ли, что сравнятся  
И сокрушит она меня!  
Зачем же я смотрю на всё спокойными глазами?  
И грусть мою луне передаю,  
Она бежит, а я зальюсь слезами  
И с жизнью опять я примирюсь.*

Понравилась мне моя поэзия, что стала частенько к ней прибегать, и пишу, бывало, и плачу; тогда это было очень чувствительно – и Боже мой! Как теперь смешно все это!

## V.

Купчик с разбойничьими замашками. – Новая любовь. – Москва. – Испытание. –  
А.Н. Рыбостовский. – Поступление в Московское театральное училище.

Театральные мои занятия шли своим чередом. К нам летом, из Москвы, приехал молодой актёр Пётр Степанович С-в. Он приехал к нам для практики в драматическом деле. Теперь он в Петербурге. Молодой, прекрасный собою, очень он мне понравился. Не знаю, как случилось, но мы очень скоро стали друг на друга поглядывать! Сначала было как-то неловко нам обоим, а потом познакомились: увидит, бывало, и бежит ко мне, всё со мною с одною и говорит и шутит. Стал он провожать меня до дому; стал бывать у нас часто, я очень привыкла к нему и привязалась не на шутку; матушка угадала это всё и начала следить за мною, запретила мне быть с ним короткой, я должна была послушать. Я стала удаляться от него, но это было очень трудно и почти невозможно, как для меня, так и для него; он стал грустить, да и мне стадо невесело! Один раз он пришёл к нам, и стал просить матушку, чтоб она не запрещала нам видать друг друга. «Я, – говорит, – женюсь на Любви Павловне, как только ей годы выйдут». Так мы порешили, что я его невеста, и стали мы любить друг друга открыто, как брат и сестра, и какая это была любовь, тихая, спокойная, отрадная. Я очень привязалась к нему душою и сердцем! Тут стали мы собираться в Рыбинск на ярмарку, со всем театром.

В Рыбинске был со мною опять престранный и очень неприятный случай. Надо сказать, что на все ярмарки собираются больше купеческие сынки, приказчики; в Рыбинск на ярмарку приехал такой молодец, говоривший, что для него ничего нет невозможного, «что хочу, то и делаю». Начал он меня преследовать, просто, бывало, проходу не даёт, куда ни пойду, он уже там; беда, да и только! С-в стал ревновать меня; купец предлагал мне большие деньги за любовь мою, чем мне до того опротивел, что я видеть его не могла и решила сказать ему, что я честная девушка, и себя продавать не намерена ни за какие сокровища! Он отвечал: «Что за честь у актрисы!» Меня так поразили эти слова, что я горько заплакала, и решила, как только представится возможность, я уйду из провинции в Москву. Купчик понял, что оскорбил меня и на другой же день, приехав к нам, просил у матушки руки моей, говоря, что он готов жениться на мне, лишь только бы загладить вину свою. Матушка сказала, что я уже невеста другого, а я сказала, что я не могу

быть его женою, и что жениха моего ни на кого не променяю. Он уехал от нас очень грустный, и с того же вечера стал делать нам неприятности, и поклялся, что если он увидит меня когда-нибудь вместе с С-вым, то он убьёт меня, или его. Все смеялись над этим, но смех кончился очень плохо. Мы стали осторожнее; С-в перестал провожать меня, а купчик нанял квартиру в кофейной против самого театра.

Ярмарка кончилась; один раз купчик приходит ко мне во время спектакля за кулисы; я играла «Двумужницу»; подошёл он ко мне, да и говорит:

– Нет, не стерпеть мне этого, не достанься ты, моя ласточка, ни мне, ни злодею моему, прощайте!

И ушёл.

Я кончила мою роль, переделась, пошла домой одна, покрылась платочком, чтоб он не узнал меня. Ночь была светлая, тёплая, чудная. Иду по набережной и гляжу в воду; так мне было хорошо, играла я с успехом, и душой моей благодарила Бога за его милосердие. Народу на набережной всегда много, я и не боялась, и шла покойно; только я поравнялась с кофейной, – она от набережной была отделена широкой улицей, – вдруг раздался выстрел и что-то так близко свистнуло от моего лба, что меня назад отшибло, и булькнуло в воду. Ноги у меня подкосились, я упала, но успела закричать. Народу сбежалось много, тут и полиция нашлась; мне сделалось дурно. Добрые люди меня подняли и проводили домой.

Что было с матерью – передать трудно; она захворала, и тут же решила оставить меня одну, на произвол судьбы. Этого купца взяли под арест, но он откупился, должно быть, и скоро уехал из Рыбинска.

В ту же ярмарку мне дали бенефис, и я взяла шестьсот рублей; дали мне пиесу «Дочь Карла Смелого», я играла Микаэлу<sup>1</sup>; хороша я была Микаэла, быв пятнадцатилетней девчонкой!

Получив эти шестьсот рублей, и чуть-чуть с ума не сошла – думала, думала, куда мне их деть, да и придумала ехать в Москву, поискать там счастья. Надо сказать, что мне жизнь провинциального актёрства очень не нравилась, было мне всегда грустно и за себя и за других: как-то все играют и ходят как будто в гостях, а не дома. Сказала матушке, она махнула на меня рукой. «Бог с тобою», – говорить, – поезжай куда хочешь, а меня уж ты отправь в Нижний, мне уж и так надоело таскаться с тобою по белу свету!»

Меня и это не удержало; я матушке дала сто рублей, наняла ей лодку до Нижнего за 20 руб., и отправилась моя матушка домой с большой неприятностью. С-в тоже собирался после ярмарки в Москву, но тут он немного убавил своего пребывания в Рыбинске и непременно хотел ехать со мною. Вот мы с ним снарядились, наняли тарантас, да ещё тройкой, на половинных издержках.

На пути заехали мы к Троице-Сергию, поклониться угоднику Божию; и что странно, я ничего решительно не помню как я была у Троицы и как молилась; мысль о Москве отбила у меня всю память и все желания; такими радужными красками мне представлялась Москва, я воображала в ней найти и счастье и радости, и сделаться женою П.С. С-ва. Ну, одним словом – все одни блаженства, а об настоящей-то жизни, которая ожидала меня, у меня и мысли не было.

Вот и Москва; мы приехали к Мясницким воротам, остановились у гостиницы; С-в пошёл узнать, есть ли номер. Номер оказался, и меня повели на самый верхний этаж в угольную комнату, одно окно на бульвар, другое на улицу. Втащили сундук и постель, состоящую из маленькой перинки и двух подушек. С – в простился со мною и ушёл к своим; у него было тогда очень большое семейство, отец его служил в почтовом отделении дилижансов и транспортов. «Я, – говорить, – спрошу мамашу, может быть, тебе можно поместиться у нас».

1 Драма В.Р. Зотова. Роль Микаэлы (дурочки) главная; на петербургской сцене её играла В.В. Самойлова. (Примеч. – «Русская старина»)

Я совершенно предалась тяжелой и безотчетной грусти, хотя и посещала меня светлые надежды, что я могу воротиться опять к Алексееву: он мне перед отъездом обещал дать жалованья вдвое против того, что я получала; я знала, что он сдержит своё слово, но это не утешало меня; так Москва напугала меня своей величиной, и своим великолепием, что я совсем упала духом. Подошла я к окну, посмотрела на Москву, подошла и к другому, тоже посмотрела и нет ей ни конца, ни края, и представились мне две картины: одна недавно прошедшая, другая – настоящая. Прошедшая: как я уезжала из Рыбинска, как я прощалась с моими друзьями, как директор предложил мне сто рублей жалованья и два полубенефиса, как неудержимо была полна каким-то восторгом, и как меня просили остаться; но уже что задумала моя головушка – ничем её с этой точки не своротишь, так и до сих пор! И стало мне жаль всего этого! Рядом с этой другая картина: одна в Москве, куда пойти и к кому? Выйдут деньги, ницца с рукою пойдёшь! И стало мне страшно. Взяла свой кошелёк и сейчас отложила шестьдесят рублей на обратную дорогу, и успокоилась.

В 9 часов пришёл С-в и сказал: «Теперь к нам нельзя переехать, покуда поживи здесь.»

Я и живу, С-в навещает меня каждый день, о театре ни слова, а если и заговорим, он скажет мне: «Подождать надо.» Самые честные отношения продолжались между мною и этим человеком, и до сих пор, и во веки моя глубокая благодарность и признательность моему другу и названному брату П.С. С-ву, за его чистую любовь ко мне; он хотел многое сделать для меня, но родители его не так повернули это дело; да и нельзя было иначе: бедная, без всякого образования девушка, куда она годится, разве только прислуживать образованным людям!

Живу я тут в гостинице неделю, подали мне счёт; ну, ничего – думаю: можно ещё прожить неделю, – поживу, а там что Бог даст. Купила я себе шляпку, две пары башмаков, перчатки, да на извозчиков проездила смотревши Москву. Живу ещё неделю в гостинице, и время идёт, а деньги, деньги так и льются! С-в всё твердит: «подожди да подожди!» Вижу, ждать больше нельзя: денег остаётся немного – пожалуй, и назад не уедешь! Так и случилось: прожила половину третьей недели и не могла уже выехать из Москвы. Я стала говорить С-ву, просить его совета как мне поступить. Он сказал, что вечером скажет. Вечера я жду, не дождусь. Наконец он пришёл и объявил, что я могу к ним переехать, что мамаша его позволила. На другой день я переехала к С-вым; у них была казённая квартира, очень небольшая и довольно грязная, детей множество: четыре девочки одна меньше другой, да ребёнок в люльке. Я кинулась к госпоже С-вой и поцеловала у ней руку как у матери; она подала мне её с каким-то презрением, тем и кончилось. У них не было горничной, я заменила её место вполне, и спала на сундуке в передней. Легко ли всё это было мне, написать трудно.

Вечером я украдкой вошла в комнатку к С-ву и говорю ему: «Что же мне делать? – залилась горькими слезами. – Ты, – говорю, – не оставь меня, ведь я погибну». – «Ну, – говорит, – теперь нечего делать, надо подождать, теперь пост, не играют». Это был Успенский пост. Делать нечего, скрепила свои силы, живу служанкой у С-вых и полы мою и всякую домашнюю работу исправляю. Прошёл пост, открылся театр; дают «Аскольдову могилу». Семейство С-вых стало собираться в театр; С-в мне дал билет и вечером мы поехали. Так была я угнетена и убита духом, что я не помню и не знаю, где я была и, увидевши этот театр, ещё более уничтожилась. «Куда мне, – думаю, – такой дряни, лезть так высоко! Поют так хорошо и играют», да и решила тут же идти в хор на московскую сцену: меня примут, голос у меня есть, но как и что делать – не знаю и не ведаю.

Приехала домой и так стало мне тяжело, горю вся и зябну, ничего не могла делать, даже плакать не могла. Утром ободрилась немного и прошу С-ва достать мне адрес начальника театра. Он мне достал; инспектор репертуара был тогда Алексей Николаевич Верстовский.

На другой день я поехала его отыскивать. Дом нашла, но он ещё не приехал с дачи, чрез неделю будет; жду неделю; недели прошла, со мною всё лихорадочное состояние. Еду опять к Верстовскому, говорят – приехал и в театре. Я – в театр, спрашиваю сторожа у большого подъезда; «только сейчас, – говорит, – уехал». Я только молитву сотворила и опять поехала домой; на другой день еду опять в театр, опять к сторожу, спрашиваю; «Нет, – говорит, – не приезжал»; я попросила у него позволения посидеть на приступочке подле двери, – я его подожду немного – да и залилась слезами и вслух проговорила: «Господи, пошли Ты мне силу и терпение»... Тут и мать вспомнила. Старик спросил меня: «Что ты, матушка, такая молодая, а плачешь?» Я и говорю: «От горя!». Тем и кончился разговор. Потом он сказал, что Верстовский не будет, а завтра в 11 часов он приедет.

Вот жду завтра, совсем почти больная. С-в увидит меня и скажет: «Ничего ты не добьешься!» Утомилась я душой. Едва смогла подать ужин, потом свалилась спать и уснула крепко. Помню ещё один сон, который я видела в эту ночь, и рассказом о нём закончу вторую эпоху моей жизни. Вот этот чудный сон.

Иду я по темной широкой улице, везде камень острый, ногам больно; иду я долго и стала уставать, сделалось мне очень тошно, вдруг вижу я стену; стена эта так высока, что едва можно видеть край её, и из-за этой стены виден свет как радуга, и от земли на самую стену идет лестница крутая и много народу хочет войти по этой лестнице на стену, и кто войдет только до половины – свалится, кто менее – тоже самое; остановилась я и думаю, не пойти ли и мне, и стало мне страшно; я подошла к лестнице, взялась за неё одною рукою и хочу лезть; мне все кричат: «Куда ты? Куда? Где тебе, вишь, на тебе платьишко какое скверное!». Я поглядела на платье и действительно платьишко скверное, я взяла и сняла с себя платье и полезла, на лестницу в одной сорочке; лезла, лезла, сердце так бьётся, так высоко, но вот ещё две ступеньки и я на стене – собираю последние силы, делаю два шага и я на стене! Гляжу вниз и такой там свет, так стало мне тепло, и какой-то седенький старичок дал мне воды напиться и говорит: «Ступай вот туда», и указал мне на широкую дорогу; «Дорога славная, чистая, да терновнику много на ней». Но я пошла по этой дороге и – иду поныне. Утром я встала рано и всё убрала как следует и отправилась в театр. Спрашиваю: «Приехал Верстовский?» – «Приехал, – говорит, – поди, матушка, я тебя коридором-то провожу». И довёл меня до самой лестницы, которая вела на сцену; «Вот, – говорит, – на эту лесенку-то войди, а там скажут». Я ему чуть в ноги не поклонилась, от благодарности. Влезла по лесенке на сцену, ноги и руки трясутся, спрашиваю у другого сторожа, где пройти к Верстовскому? «Вот по лестнице», – указал мне ещё лестницу, я дошла до половины, вдруг растворилась дверь и Бантышев вышел из неё. Он видел меня в Нижнем. Посмотрел он на меня да и говорит:

– Ты зачем и куда?

– Я, – говорю, – к Алексею Николаевичу Верстовскому.

– Матушки мои! Вот как; да зачем же тебе его?

– Я, – говорю, – хочу в актрисы здесь поступить.

Бантышев засмеялся и говорит:

– Ах ты, пигалица, ну пойдем я тебя покажу ему!

И привёл меня к Верстовскому. «Вот, – говорит, – в актрисы поступить хочет».

Верстовский засмеялся, и действительно я была очень смешна: на мне было крепрашелевое платье, теневый платок и соломенная шляпка с красными цветами.

– Ну, – говорить, – что же ты, откуда?

Я рассказала ему.

– Что ты играла?

Я рассказала.

– А петь умеешь?

Я говорю: «Умею».

– Что же ты поешь?

Я говорю:

– «Аскольдову могилу».

Он так руками и всплеснул! Бантышева даже передернуло. Опять оба засмеялись.

Верстовский взял меня за руку, а я как в лихорадке. Ему, знать, стало жаль меня, он так ласково сказал: «Полно, душа моя, не бойся, вот я послушаю как ты поёшь, не бойся и смелее. Ну, что же ты поёшь?»

У меня слёзы навернулись на глазах. Он сам сел аккомпанировать, сыграл ригурнель и спросил меня, из чего это? Я говорю: «Из «Аскольдовой могилы» первая ария Надежды. «Ну и пой её!» Я начала петь, голос дрожал у меня. Я пропела один раз, он заставил повторить её; потом, не говоря ни слова, оделся.

– Пойдем, – говорит, – со мною.

Господи, думаю, куда он меня повезёт, уж не рассердился ли он на меня? Посадил меня с собою в колясочку и привёз прямо в школу к Александру Михайловичу Гедеонову, он тогда был в Москве. Я опять пела то же самое. Гедеонов сказал, что допустит меня ходить учиться. Доброта лица этого человека точно бальзамом облила мою больную душу. Я решила ему всё сказать, да и сказала только: «Я не имею пристанища, мне есть нечего», – а сама заплакала. Он взял меня за голову и поцеловал. «Сколько тебе лет?»

Я говорю:

– Только пятнадцать минуло вчера.

– Ну вот тебе на именины подарок: ты остаешься здесь, но с условием не лениться и учиться хорошо.

Я дала ему слово, а сама плачу. Он говорит:

– Не плачь, о чём же ты плачешь?

– От радости!

И действительно, горькая слеза, навернувшаяся за четверть часа сменилась радостными слезами. Я поцеловала руку у Гедеонова, он велел послать за всем, что у меня было, к С-ву, а я так тут и осталась в школе Московских Императорских театров, казённой воспитанницей; здесь уже (с 1844-го года) начинается третий период моей жизни и последний, до настоящей минуты<sup>1</sup>.

1 Из Примечания «Русской старины»: «Здесь прерываются «Записки» знаменитой Московской артистки Л.П. Никулиной-Косицкой; продолжение их, и довольно значительное, было написано и переписано, но вырвано из общей тетради, на что указывают следы обрыва и о чём свидетельствует зять покойной артистки, А.Н. Матвеев. «Записки моей тещи, – сообщает нам А.Н. Матвеев, – были написаны на отдельных листках и весьма неразборчиво. Переписка их произведена под наблюдением моей покойной жены, дочери Л.П. Никулиной-Косицкой. Последняя часть «Записок» была написана также на лоскутках и далеко не кончена – она погибла: её употребили на завертку различных вещей после смерти Любови Павловны, по распоряжению матери её мужа; произошло это в суматохе, и без ведома жены, вероятно, по незнанию, что это «Записки». – Цель печатания «Записок» – исполнить желание покойной моей жены Веры Ивановны, дочери Л.П. Никулиной-Косицкой. Вот несколько фактов из жизни Л. П. По выходе из Театральной школы Л.П. Косицкая, в 1851 году, вышла замуж за артиста москов. импер. театров, драматической труппы, Ивана Михайловича Никулина. От этого брака в 1852 году родилась дочь Вера. В конце 1850-х годов Л. П. овдовела. Выйдя замуж, Косицкая пользовалась хорошими материальными средствами, так как муж её, будучи крестником и воспитанником князя Грузинского, получал от него хорошие средства; потому жили они открыто. Кружок, собиравшийся у них, по преимуществу составляли артисты, как московских театров, так и провинциальных. В это же время Л. П. ездила в Одессу, Нижний и другие города, где была встречаема с восторгом и награждаема подарками. 15-го декабря 1867 года был последний её бенефис, на который она явилась совершенно больная. Были поставлены следующие пьесы: «Обоз», «В Москве и Нижнем» и «Воробушки». Несмотря на бесцветность содержания этих пьес и на все интриги, не только закулисные, но даже и дирекции, бенефис был блистательный, и публика с восторгом встретила любимую артистку. Аплодисменты продолжались непрерывно около получаса, и в это время бенефициантке был поднесён подарок, с надписью: «Л. П. Никулиной-Косицкой – от почитателей её таланта и любителей драматического искусства. В честь 20-ти летнего служения русскому театру». Л. П. скончалась в Москве 5-го сентября 1868 года и погребена на Ваганьковском кладбище, – а в 1870 году, в ноябре месяце, я имел несчастье похоронить там же и дочь её Веру, мою жену. А.Н. Матвеев.» (Ред.).